



Панас Мирный

Гулящая

«Public Domain»

Мирный П.

Гулящая / П. Мирный — «Public Domain»,

В глухой деревушке, затерявшейся на просторах Российской империи, словно весенний цветок расцвела девичья краса Христины. А это дар, но дар нелегкий и опасный. Красивую девушку подстерегают тысячи соблазнов, а если она к тому же бедна и одинока, то избежать их ей во сто крат труднее. Ни один мужчина не может устоять перед Христиной, волею судьбы покинувшей родное село и оказавшейся в губернском городе. Много горестей и совсем мало радостей, которым так радовалась ее чистая, наивная душа, выпало на ее долю. Жизнь Христины словно падающая звезда мелькнула на темном небе, чтобы, просияв на миг, раствориться во мраке.

© Мирный П.

© Public Domain

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Часть первая | 5 |
| ГЛАВА ПЕРВАЯ | 5 |
| ГЛАВА ВТОРАЯ | 10 |
| ГЛАВА ТРЕТЬЯ | 16 |
| ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ | 23 |
| ГЛАВА ПЯТАЯ | 28 |
| ГЛАВА ШЕСТАЯ | 35 |
| ГЛАВА СЕДЬМАЯ | 41 |
| ГЛАВА ВОСЬМАЯ | 46 |
| Часть вторая | 51 |
| ГЛАВА ПЕРВАЯ | 51 |
| ГЛАВА ВТОРАЯ | 57 |
| ГЛАВА ТРЕТЬЯ | 61 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 71 |

Панас Мирный

Гулящая

Часть первая

В СЕЛЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Другой такой зимы, лютой и неистойой, люди не припомнят! Осень была дождливой: от второй пречистой [Церковный праздник – 4 ноября.] начались дожди и шли непрерывно до самого Филиппова дня [27 ноября.]. Земля так насытилась водой, что больше ее уже не принимала. Большими лужами и озерами стояла вода на полях и в балках; на проселочных дорогах такая грязь – ни пройти, ни проехать. Не только в другое село, но даже к соседу нельзя было пройти в течение многих недель; жили как в неволе. Осенние дворовые работы приостановились. У кого был овин – молотил понемногу, собирал плоды летней изнурительной страды. Но много ли этих овинов в Марьяновке? У сборщика податей Грыцька Супруна – один; у попа – второй; у пана – третий; а у остальных хлеб гнил в стогах. И урожай этим летом не густой выдался – а нынче осень угрожала и его сгноить... Болело сердце хлебороба при виде залитых водой токов и почерневших, приникших к земле скирд. У Демиденка рожь проросла; у Кнура два стога мыши попортили; совсем скирды развалились, рассыпались – превратились в гниль. У Остапенка крыша продырявилась – вода в хату протекла: собирался этой осенью чинить кровлю, но помешало несчастье. На людей пошли напасти: простуды, лихорадка... Заработка никакого, денег нет. У иных и хлеба уже не стало, да и не у кого занять. Беда, наказание Господне! Заказывали акафисты, служили молебны – ничего не помогало!

Так было до Филиппова дня. Ночью перед рассветом повеяло холодом; к утру выпал небольшой снежок. С неделю продержался мороз – земля затвердела, точно кость. Люди и этому рады: сразу бросились к хлебу. От зари до поздней ночи стучали цепи, лопаты, шуршало зерно на токах – горячо принялся народ за работу! Через неделю на месте почерневших стогов желтели скирды соломы. С хлебом управились, а отвезти его в город на базар или на ярмарку куда-нибудь – так грязь такая, что со двора не выедешь! Кое-кто не утерпел – поехал, так закалялся: у одного – вол надорвался, а у другого – сразу пара. У кого была лошаденка – еще так-сяк: возил понемножку. Да много ли этих коней в селе? Марьяновские крестьяне испокон веку хлеборобы: вол, а не конь – сила в полевой работе. Марьяновцы всегда предпочитали волов: на коне что? – поехать куда-нибудь на прогулку, а волы – для работы.

Жалко скотину, а тут пристали с подушными податями: ягнята, свиньи, коровы – все за бесценок пошло; в волость забрали да там и продали... Народ горевал, жаловался: ведь это же только первая половина уплачена, а где взять на вторую? Все носы повесили. Одна надежда осталась на ярмарку в Николин день [19 декабря.] в городе: там если не продашь, то хоть пропадай! Люди в надежде на милость Божью молились, чтобы хоть немного снега выпало, дорогу прикрыло: все же сани не то что воз – и для скотины легче, и потянут больше.

В Наумов день [14 декабря.] потеплело. Солнце спряталось за зеленые облака; к полудню подул ветер – наступила оттепель. Она продержалась три дня. Накануне Варвары [17 декабря.] прошел мелкий снежок; до утра его изрядно выпало. Народ скорей собрался на ярмарку: у кого была скотина – запрягал свою, у кого не было – просился в компанию. Все выезжали и уходили: каждому нужно что-либо продать и купить.

Напросился и Филипп Притыка к Карпу Здору, своему соседу и куму. Положил на его сани пять небольших мешков ржи, один – пшеницы да полмешка пшени – весь излишек, который можно было продать; и вместе с кумом ранним утром на Варварин день поехали в город. Снарядила их в дорогу семья Здора; снаряжала мужа и Приська, жена Филиппа, еще не старая годами, но сильно постаревшая молодница; прощалась с ними и дочка Филиппа – семнадцатилетняя Христя. Приська наказывала мужу соли купить с полпуда; Христя просила отца привезти из города гостинец – перстень, сережки или хоть ленту какую-нибудь...

– Ладно, хорошо! Всего навезу! – с горькой усмешкой говорит Филипп, думая больше о подушной подати, про которую уже не раз напоминал Грыцько Супруненко, чем о просьбе дочери.

Город от Марьяновки в верстах двадцати. Если выехать перед рассветом, то к обеду как раз поспеешь. Так они рассчитывали, так и тронулись в путь-дорогу. С утра снег снова начал понемногу падать, потом пошел сильнее и гуще. Было тихо, а тут и ветерок подул, закружились снежные вихри. К обеду поднялась такая метель, что и света белого не видно! Уже не ветер, а вьюга завывала, поднимая с земли целые горы снега и неистово кружа их в воздухе. Не видно стало ни неба, ни земли – все затмила непроглядная метель... аж страшно, тоскливо стало на душе! Так продолжалось до ночи и весь следующий Саввин день [18 декабря.]. Во дворах намело такие сугробы, что глядеть страшно было: некоторые хаты совсем занесло.

Марьяновка раскинулась на двух холмах, между которыми в низине находился небольшой пруд. Теперь этой низины и не видно: извилистые сучья высоченных верб, словно стебли бурьяна, торчат из-под снега; улицы засыпаны, во дворах вровень с хатами стоят большущие снежные сугробы, только ветер треплет их заостренные головы. В подворье Притыки, крайнем от церкви, и хлева, и клетки полны снега. Вокруг хаты, словно сторожа, стоят пять высоких сугробов; ветер срывает с них снег и перебрасывает его через кровлю. На ней и на трубе столько снега, что не узнать, то ли это людской очаг, то ли огромный сугроб. На Николин день метель улеглась, зато ударил такой мороз – прямо обжигает! А ветер, того и гляди, опрокинет, сорвет с земли... Такого холода никто не припомнит! Галки замерзали на деревьях и, как ледяные сосульки, падали на землю; воробьи околевали в клетях... В церкви, несмотря на такой большой праздник, не было службы: к храму нельзя было пробраться. Народ с самого утра взялся было за лопаты, чтобы хоть тропинку проложить, но, ничего не добившись, люди разошлись по домам. Скотина третий день не поена: водопой совсем замело, да и сама скотина в неволе, к ней с большим трудом можно было добраться, чтобы кинуть вязанку соломы... Овцы и телята начали околевать... Еще два таких дня – и ничего от скота не останется. Сбылась поговорка: «Варвара погрозит, Савва постелет, а Никола скует».

Собралась утром Приська выйти из хаты – никак двери не откроет! Вместо сеней Филипп смастерил немудреную пристройку, обложив ее навозом. Теперь там было полно снега! А тут еще на беду все топливо вышло – приварка не стало; нечем печку истопить, борщ сварить. С большим трудом Приська с Христей приотворили дверь, придерживая руками снег, но часть его все же попала в хату. Снег таял; лужи текли в подполье, под лавки и печь; в хате стало холодно, как в погребе. Кое-как дверь открыли. Начали выметать снег из хаты в сени, а оттуда на двор. Обе они утомились, даже пот прошиб. Сени очистили от снега и закрыли плетеной корзиной, стоявшей в углу. А теперь нужно как-то к соломе пробиться: не сидеть же в нетопленной хате!

Христя кинулась было во двор – и погрузилась с головой в снег. Приська стала ее вытаскивать; поднялся крик, гам... С соседних дворов доносился такой же шум: и там было не лучше. На улице кто-то кричал, ругался... где-то хохотали... И смех и грех!.. Насилу выбралась Христя из сугроба, но в другой раз попыталась пробраться и снова увязла...

– Нет, не так, – говорит Приська. – Давай корытом снег выгребать.

Взяли корыто. Вокруг хаты был свободный проход; между сугробами тоже виднелись просветы – туда сносили снег. Насилу пробрались к соломе. Ворохов пять натаскала Христя в хату. Приська совсем выбилась из сил, лежала на полу и стонала... Топливо достали, теперь бы надо в погреб пробиться. Попыталась снова Христя – нет, не суйся!

– Да ну его, этот погреб! Еще немного бураков осталось – сварим борщ; пшено тоже есть, на кашу хватит, – решила Приська. – А что картошки нет – уж так и быть!

Христя затопила печь, солома сразу запылала, и дым повалил в хату.

– И трубу занесло... Вот беда! – Едва произнесла Христя эти слова, как из дымохода вывалилась целая охапка снега. Христя торопливо вымела его в сени. Дым начал клубиться над шестком, ища выхода; из трубы еще выпал замерзший снег; его сразу вынесло наружу. Слава Богу! Солома запылала жарко-жарко.

Пока Приська приходила в себя, Христя готовила обед. Сноровистая эта Христя, золотые у нее руки! Не мешкая, она сварила борщ. Задвинула печную заслонку, и стало тепло в хате. А на дворе опять творилось такое, что просто беда!

Солнце, показавшееся с утра, снова спряталось за тучи; зеленые и мрачные, они обложили все небо. Ветер с часу на час крепчал, рвал снег с земли, крутил его во все стороны, вздымал белые вихри. Вокруг хаты словно сто коней плясало; тархтело на чердаке, завывало в трубе. Хорошо тому, кто теперь дома, у теплого очага! А каково тем, кто в поле, в пути!

Сердце Приськи заныло. Она сегодня ждала Филиппа. Он, верно, выехал утром. Не дай Господи не найдет пристанища! Занесет его снегом, душу заморозит навеки.

Приська еле ходила по хате, бледная, мрачная, и непрерывно стонала. Долго не садилась обедать, все ждала – вот-вот приедет... Потом пообедали – Филиппа все не было. Уже стало вечереть, а его нет. Невеселые думы копошились в голове Приськи.

– Что-то отца нет?... Не дай Господи в поле захватит такое... – сказала Христя.

Приська чуть не вскрикнула. Слова дочери ножом полоснули по сердцу... Ветер сердито рванул так, что кровля затрещала, застучало в окна, заскулило в трубе тонко и жалобно – сердце у Приськи захолонуло.

Ночь спустилась на землю, серая, неприветливая ночь. Сквозь замерзшие стекла окон еле пробивался свет; в углах хаты сгустились тени, и вся она погрузилась в густой сумрак.

– Зажги хоть огонь! – грустно промолвила Приська.

Христя зажгла маленькую копилку и поставила ее на выступ печи. Подслеповато, чадая вовсю, горел фитилек; ветер гулял по хате; сизое пламя колыхалось во все стороны, словно умирающий мигал померкшими глазами. Христя взглянула на мать и испугалась; с почерневшим лицом сидела она на нарах, подогнув ноги и скрестив руки на груди; повязка на ее голове сбилась набок; серые космы волос свисали, как засохшие будылья кукурузы; длинная тень ее колыхалась на отсыревшей стене.

– Мама! – крикнула Христя.

Приська подняла голову, глянула на дочь, да с такой тоской и болью... Христю всю обдало холодом от этого взгляда.

– Такой ветер в хате! Не протопить ли? – спросила Христя.

– Как хочешь, – ответила Приська, и снова голова ее опустилась на грудь.

Христя затопила печь. Весело замелькали светлые огоньки на тонких стеблях соломы, золотые искры залетали на черные челюсти печи, весь пучок вспыхнул ярким пламенем; оно осветило хату, заблестело на замерзших стеклах и начало угасать. Христя подбросила соломы... еще... и еще... Снова высоко взвилось пламя, осветив хату. Темным призраком казалась при свете пламени фигурка Христи; круглое молодое лицо, как цветок, разрумянилось, глаза сверкали. Огненные блики падали на пол, скользили по стенам, добираясь к перекладинам на потолке. В углу на жерди висит одежда – свитки, юбки, – отбрасывая черную тень; под ее покровом сидит Приська в той же позе; отблески пламени скользят по ее лицу,

одежде – ей все равно; сгорбленная, понурившись, она будто прислушивается к буре, которая так страшно гудит и воет за окном. И кажется ей, что-то шелестит там, кряхтит, скребется, стучит. Вдруг послышался голос человека.

– А буря какая, Господи! – промолвила Христя.

– Тсс!.. – крикнула Приська, подняв голову. Лицо ее ожило, в глазах блеснула радость.

– Эй! Слышите? – доносится голос со двора.

Приська вскочила и бросилась в сени.

– Ты, Филипп? – спрашивает она, глядя сквозь изгородь на занесенную снегом фигуру.

– Что это у вас стоит на дороге? – допытывается голос.

– Кто там? – встревоженно окликнула и Христя.

– Это я.

– Кто – я?

– Грыцько Супруненко, сборщик. Пустите в хату... Вот это да! Ну и замело!

С помощью Грыцька корзину отодвинули в сени, и все вместе вошли в хату. Грыцько саженного роста, да еще в бурке с капюшоном, головой касался потолка.

– Здорово! – сказал он, сняв вместе с буркой и шапку и обнажив густое руно поседевших волос на голове, длинное, суровое лицо, насупленные брови, здоровенные замерзшие усы.

– Здравствуйте, – ответила Приська.

– С тем днем, что сегодня!

– Спасибо.

– Филипп дома?

– Нет его.

– Вот тебе и на! На черта и лучше! А мне его надо. Где же он?

– Да как поехал на ярмарку еще в Варварин день, так и не возвращался, – вздохнув, говорит Приська.

– На черта и лучше! – повторил Грыцько.

– А что вам?

– Что? Подушную! – грозно крикнул Грыцько, пройдясь по хате и ударив ногой об ногу.

– Не знаю, – помолчав, говорит Приська. – Когда вернется, скажу... Повез немного хлеба продать; если продал...

– Да я эту песню всюду слышу, – перебил ее Грыцько. – Черт понес их на ярмарку! А тут житья не дают: иди да иди! По такой погоде... ххе!

– Что же им так приспичило? – спрашивает Приська.

– Бог их знает!.. Вот несчастье!.. – почесывая затылок, произнес Грыцько. – Они там на ярмарках гуляют, водку пьют, а ты тут ходи да кланяйся...

Приська молчала. Она хорошо знала этого Грыцька: не было более горячего человека во всем селе. Рассердить его – что раз плюнуть; а если рассердился, так пристанет, как репейник. Лучше уж молчать. Грыцько молча ходил по хате, потирал руки, бил сапогом об сапог.

– А теперь еще плестись к Гудзю! Весь свет, вишь, обнищал, – сердился Грыцько. – Душу за них, проклятых, заложил!.. Да хоть бы деньги давали.

– Что ж, если нет денег, – тихо говорит Приська, – разве б люди не рады были отдать? А если и заработать нельзя?

– Брехня! – оборвал ее Грыцько. – Таков уж нрав лодырей, привычка такая чертова! Так повелось: ходи к ним по десять раз да проси, в ноги кланяйся!.. А нет того, что раз ты должен – отдай, что следует с тебя. Так нет же! Лучше в шинке пропью, чем в казну отдам.

– Было бы что отдавать, – усмехаясь, говорит Приська, – а не то что в шинок носить... Уже, сдастся, что у кого было, все содрали... Доколе будут с нас драть?

– То не нашего ума дело... Сказано – дай, значит – отдай.

– Ведь и даванию конец должен быть... Уж все, что было, забрали... ягнят продали, свиней продали, одежду лишнюю... Остались – в чем душа держится. Доколе же его брать и откуда оно возьмется?

– Толкуй! Что тебе, поможет?... А ну, дай-ка, девка, огонька закурить, – подходя к печи, сказал Грыцько.

Христя достала ему жар.

– Как же ты его возьмешь? – крикнул Грыцько, показывая рукой на кучу пепла, в котором тлели угольки. – А с хлопцами небось проворна? – злобно ввернул он. – Давай пучок соломы!

Христя скрутила соломенный жгут, зажгла его и подала Грыцько.

– Так ты ж скажи Филиппу, чтобы беспрерывно принес деньги, – говорит Грыцько, раскуривая трубку. Огонь осветил его лицо, насупленные брови, серые злые глаза, скользнувшие по лицу Христя... Кажется, трескучий мороз не обдал бы ее таким холодом, как этот взгляд.

– Скажу, скажу...

– Ска-а-жу-у! – нараспев сердито повторил Грыцько, сплюнул, надел бурку и вышел из хаты.

– Учтивый дядька, нечего сказать. Ушел и даже не попрощался! – сказала Христя.

– Жди от Грыцька учтивости – дождешься! Он уже и людское обхождение из-за своей спеси забыл, – вздохнув, промолвила Приська и снова забилась в угол.

Тяжелая, саднящая тоска сдавила ей сердце, гнетущие мысли заполнили голову. Картины ее долгой жизни промелькнули перед глазами. Где ее радости, веселье? День-деньской работа, хлопоты, ни погулять, ни отдохнуть. А нужда какая была, такая и есть, с детства привязалась и не отвяжется... Все хорошее в сердце, живое в душе она, как червь, источила; и красота была, да незаметно поблекла; и сила неизвестно куда девалась; надежды увяли; осталось только одно – дочку пристроить, тогда и умереть можно... Без жалости, без печали, скорее с радостью оставила бы она этот мир: такой он горький, осточертевший, темный и неприветливый... Там – хоть вечный покой, а тут ни отдыха нет, ни одной отрадной минуты... Она и так долго протянула; другого бы раздавила такая тяжелая нужда и горе или заставила руки на себя наложить, а она все вытерпела, все превозмогла... Неудивительно, что в сорок лет поседела; глубокие морщины изрезали высокий лоб, избородили некогда полное румяное лицо; высушенное и обесцвеченное беспросветной жизнью, оно стало желтым, как воск; стройный стан согнулся, сгорбилась спина и впала грудь, а юный жар в очах погас, потускнел, как вянет цветок на морозе. Глубокие занозы вогнала жизнь в сердце Приськи, страшным морозом сковало ей душу! Как мученица, сидела она теперь на нарах, и не хотелось ей глядеть ни на что, не хотелось жить; закрыв глаза, она тяжело вздохнула.

Буря выла, наполняя отчаянием душу, сердце, все существо Приськи.

– Вы бы легли, мама, отдохнули, – окончив работу, говорит Христя.

– Он уже не вернется сегодня, – глухо промолвила Приська. – И то – отдохнуть пора... – Вытянув свои синие корявые руки, она взобралась на печь. Суставы ее трещали, сама она все время стонала.

Христя проводила взглядом мать, и сердце ее захолонуло. Как она постарела, высохла, немощна. Неужели и ей суждено быть такой? Не приведи Господи!

Всю ночь будили Христю тяжелые вздохи матери, не раз слышала она и сдавленный плач.

– Мама, вы плачете? – допытывалась Христя.

Плач и вздохи на некоторое время замирали. И тогда слышней становилось жалобное завывание вьюги.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Недаром горевала Приська, недаром всю ночь не спала, то заливаясь горькими слезами, то тяжело вздыхая. Уже третий день миновал после Николы, а Филиппа все еще не было. Ежедневно бегала она к Здорихе разузнать, не вернулся ли ее муж. Пока Здора не было, надежда еще теплилась в ее душе, шевелилась на самом дне, согревала. А когда Карпо приехал и сказал, что Филипп, продав хлеб, ушел куда-то и больше ему на глаза не попадался, – ни жива ни мертва вернулась Приська домой. В голове у нее гудит, в ушах звенит, в глазах темно... Она не могла вымолвить ни слова; как слегла, так и пролежала, словно деревянная, до следующего дня.

Назавтра она пошла по селу расспросить у вернувшихся из города, не видел ли кто-нибудь ее Филиппа. Кнур сказал, что видел его в шинке; Грыцько Хоменко рассказывал, что встретил его в компании с Власом Загнибидой; Дмитро Шкарубский сказал, что в самый Николин день Филипп ушел из города. «Куда ты? – спросил Дмитро. Домой? Что, расторговался?» – «Расторговался», – ответил Филипп, ударив рукой по карману. «А не боишься, что метет?» – спросил Дмитро. «Это не про нас метет», – смеясь, ответил Филипп. «А про кого же?» – «Про тех, что в рыдванах ездят и боятся мороза». – И, захохотав, пошел прочь.

Другие на вопросы Приськи ответили, что и в глаза не видали Филиппа; проклинали метель, проклинали дорогу, занесенную снегом; клялись, что во веки веков не поедут больше на эту ярмарку; рассказывали, что много народу замерзло, не говоря уж о тех, кто руку, ногу или нос отморозил... И полиция, и станковые пристава ездят всюду, разрывают снежные сугробы и откапывают залубневшие трупы. «Как дрова они навалены в полиции», – добавил Петро Усенко.

Вернулась Приська домой опечаленная, в слезах. Христя, глядя на нее, тоже плачет; друг другу слова не говорят. А тут еще Грыцько насаждает: каждый день за подушной податью приходит – покоя от него нет.

– Где же я возьму? Видишь – Филипп не возвращается, – плача, ответила Приська.

– Запил, должно быть, – не унимается Грыцько. – Все уже вернулись, а его все нет.

– Может, и не вернется никогда... – говорит Приська.

– Черт его возьмет! Такого ничто не берет! – кричит Грыцько, потом еще Христю шпынует... все хлопцами ее укоряет. Христя знает, куда он гнет, но молчит, чтобы пуще его не разозлить.

Грыцько – богатеи, мироед; у него три пары волов, две лошади, целая сотня овец, две хаты – одну сдает внаем, в другой живет сам с женой и сыном. Тихий хлопец его сын Федор, красивый, работающий, послушный; водку не пьет, по шинкам не шатается. Все бы хорошо, да... сватал осенью Грыцько Федора за Рябченкову Хиврю, – хоть и очень некрасивую, зато богатую, – а Федор возьми и заупряйся: «Ни за что не возьму Хиврю». – «А кого же тебе надо? Поповну?» – «Вот, – говорит Федор, – красивая девка у Притыки – Христя». Грыцько так посмотрел на сына, словно хотел этим взглядом пронзить его насквозь. «У Притыки?... Красивая, а что у нее за душой?» – грозно спросил он. И уже больше к Федору не приставал.

С того времени Грыцько никогда не упускал случая так или иначе насолить Притыке. А Федор, несмотря на отцовские угрозы, все больше привязывался к Христе; не так она к нему, как он к ней льнет. По селу пошли разговоры: околдовала Христя Федора да и насмехается над ним. Услышал это Грыцько и совсем взбеленился: выругал Федора, чуть не избил и угрожал, что он этого Притыку со всей его семьей со свету сживет; а если Христю где встретит, сейчас ей начнет глаза колоть хлопцами. Так и теперь – точно иголки втыкал в ее и без того израненное сердце. Христя молчала. Да и что ей сказать? Что ей теперь до хлопцев, когда дома такая беда? Но Приська заступилась за нее.

– Что ты мелешь, Грыцько? – спросила она. – Только увидишь Христю, так все с хлопцами к ней пристаешь...

– А ты за своей дочкой смотришь? – грозно спросил Грыцько.

Защемило материнское сердце. Тяжелая тоска и без того придавила его, а тут острая обида точно шилом проколола.

– Гляди лучше за своими детьми, а то пришел чужих учить, – ответила она с возмущением в голосе.

– И научу!.. Научу!.. – кричал Грыцько.

– Чему же ты научишь? Ты бы еще лучше залил глаза, так увидел бы больше, – не утерпев, сказала Приська, намекая на то, что Грыцько пришел выпивши.

– А ты мне ничего не говори... И ты ведьма, и твоя дочка такая! Вы только и умеете хлопцев заманивать и околдовывать.

– Каких хлопцев? – удивленно спросила Приська.

– Не знаешь? Прикидываешься святой? А кто моего Федора свел с ума? Кто его напаивал, обкуривал? Думаешь – не знаю? Молчи уж!

И, сердито сверкнув глазами, он хлопнул дверью и ушел.

За одной бедой – другая, к обоженному месту прикладывают огонь...

– Что это, Христя, говорят? О ком? – укоризненно, со слезами в глазах обратилась она к дочери.

Та стояла, как стена, немая, как мел – белая. Ее испугала буча, поднятая Грыцько, устранил его грозный взгляд, крикливый голос. Она ни слова не сказала матери, да так и залилась слезами.

– Так это правда? Правда? – кричала мать с таким отчаянием, точно у нее сердце разрывалось.

– Мама, мама! Ни в одном его слове нет правды! – рыдая, проговорила Христя.

Приська не знала, чему верить, кого слушать. Мысли в ее голове путались, раздваивались: то чудилась ей страшная буря, вой выюги, замирающий крик человека; она слышит голос Филиппа, видит его – беспомощного, прячущего закоченевшее лицо в снег... Сердце ее разрывается от жалости. То снова перед глазами Грыцько, упрекающий Христю... Бог ее знает! Разве признается матери провинившаяся дочь?... Ее сердце замирает, словно перестает биться; какая-то тяжесть гнетет ее душу, черной пеленой застилает глаза. Господи, какая мука! Какая невыносимая мука!

Короткий день быстро проходит, настает зимняя длинная предрождественская ночь. Чего только за эту ночь не передумаешь? Сколько мыслей промелькнет в голове, встревожит сердце! А Приська за всю эту ночь и глаз не сомкнула. Как легла с вечера, так до самого утра только и слышны были ее глубокие вздохи и приглушенное всхлипывание. Христя тоже долго не могла уснуть.

Она и хотела, и боялась заговорить с матерью, утешить ее, как в минувшие ночи. Знал Грыцько, когда с ней свести счеты. А жалости у него – ни капельки!.. Как ей теперь убедить мать в том, что она невиновна? Рассказать ей о своих тайных встречах с Федором? Какая же девушка выдаст эту тайну? Было, может, и такое, за что мать, дознавшись, и надрала бы ей косы; а коли не знает, оно и так сойдет... сказать об этом сейчас, когда сердце матери и без того обливается кровью, когда она, может, только и видит перед глазами отца, как провожала его на ярмарку, только и слышала его голос? Тоска и досада заполнили ее душу, ножом вонзились в сердце. Христя молча слушала тяжелые вздохи матери, ее безутешное рыдание. Молодое отзывчивое сердце долго не выдерживает такой ноши, такого горя. Не выдержала и Христя. Сон – не сон, а какая-то дрема начала ее одолевать, закрывала ее заплаканные глаза.

На рассвете проснулась Христя и удивилась, что мать еще до сих пор не вставала. То, бывало, когда Христя проспит, мать всегда будит ее; а сейчас уже утро заглядывает в окно своими серыми глазами, но мать лежит еще на печи, даже не пошевелится.

«Пусть она поспит, – думает Христя. – Пусть хоть немного отдохнет, пока я управлюсь». На цыпочках ходила Христя, чтобы не нарушить тишину в хате; как назло, солома под ногами шелестела и потрескивала. Христя ступала еще осторожнее. Надо умыться, а воды в хате нет. Она по-кошачьи прокралась в сени, а когда вернулась, мать уже встала; в черном печном закутке мелькала ее серая фигура. Это не мать, не живой человек, а выходец с того света. На ее костлявых плечах сереет сорочка, широкая-широкая, словно с чужого плеча; шея, желтая и сморщенная, как у трупа, будто вытянулась, а под дряблой кожей торчат позвонки; щеки ввалились и отсвечивают восковой желтизной; глаза мутные, как оловянные пуговицы, под ними висят синие мешки, а вокруг – красные круги. Она дрожала всем телом; губы ее что-то беззвучно шептали. Едва не уронила ковшик из рук Христя, когда увидела свою мать.

– Не вернулся?... Нет его?... – искривленными губами произнесла Приська, словно сухая трава прошелестела. Она, видно, хотела заплакать, но не смогла; глаза ее горели лихорадочным блеском, и, как она ни мигала набрякшими веками, ни одна слезинка не показалась.

В обед снова Грыцько явился.

– Ох, Господи, ну и повадился к нам этот дядька! – сказала Христя, завидя Грыцька.

– Где мать? – спросил он, войдя в хату.

– На печи, – ответила Христя. Приська так и не сошла с печи.

– Чего лежишь? Вставай и собирайся в город мужа забрать, – сказал он.

– Чего ж я за ним пойду? Разве он сам не придет? – простонала, поднимаясь, Приська.

– Придет... Жди – дождешься!.. Замерз! – рывками бросал слова Грыцько.

Приську словно ножом кто в бок полоснул. Она рванулась, зашаталась да так и окаменела – хоть бы слово сказала, хоть бы вздохнула! Только обезумевшими глазами смотрела на Грыцька.

Христя тоже растерянно взглянула на него, потом на мать, схватилась за голову, прислонилась к печи.

– Ой, батюшка мой родненький! – в отчаянии заголосила она и вся затряслась.

У Грыцька мороз пошел по коже от этого истошного крика, но он не из таких был, чтобы поддаться чужому горю; шагая взад и вперед по хате, начал рассказывать:

– Как раз в волости был... носил подати... При мне получили бумагу – объявить жене, или детям, или родственникам, чтобы пришли в город признать... нашли в снегу замерзшего... Загнибида признал... Так чтобы взяли похоронить, если хотят... Там у него нашли новые сапоги и еще что-то... В волости хотели нарочного за тобой послать, но я сказал: все равно буду на том конце – зайду и скажу.

Окончив рассказ, Грыцько поглядел на Приську, потом на Христю. Приська молчала, Христя причитывала. Он снова прошелся по хате раз, другой; посмотрел на мать и дочь. Никто не мог бы разгадать, что светилось в его глазах: радость или огорчение? Лицо его как-то перекосилось. По-прежнему слышалось рыдание Христи.

– Вы же слышали? – глухо спросил он и, резко повернувшись, вышел из хаты. Следом за ним, точно укор, вырвался отчаянный крик Христи и замер. Грыцько, тряхнув головой, пошел по улице.

– Ой, леличка!.. [Ласковое обращение к пожилой женщине.] Ой, мамочка! – голосила Христя, подойдя к матери. – Что мы теперь, сироты, будем делать?

Она глядела на мать заплаканными глазами, а мать на нее – сухими и горящими.

– О, горенько наше! Ой, беда тяжкая! – тужила Христя, прижимаясь к матери.

Приська все так же глядела на нее обезумевшими глазами и дрожала. И вдруг, словно что-то разорвалось, треснуло... Страшный хриплый крик вырвался из Приськиной груди, и

неудержимые рыдания потрясли ее. Приська приникла к дочери, обхватила ее голову руками и неистово завывала:

– Моя доченька, моя голубка, пропали мы с тобой навек!

Небо нахмурилось, в хате потемнело. И в этой темноте, точно совы, перекликались мать и дочь. Тонкий выразительный голос Христи переплетался с хриплым завыванием матери, растекался по хате, бился о стекла, стлался по полу. Безысходная тоска, казалось, выглядывала из каждого угла осиротевшей хаты.

До самых сумерек голосили они. Забыли и про обед, забыли обо всем на свете. Однако Здориха, услышав из своего двора их отчаянные вопли, пришла узнать, что у них случилось, и насилу добилась от Христи, что они оплакивают отца. Одарка принялась утешать Приську, говоря, что это еще, может быть, и ложь, – чего только люди не придумают? – но этим еще больше расстроила несчастную, и та зарыдала сильнее. И так ее слезы душат, что слова вымолвить не может. Невеселая и с тяжелым сердцем вернулась Одарка домой.

Смеркалось. Точно серый туман колыхался над землей. В хате черным-черно; только замерзшие окна сереют, как глаза, покрытые бельмом, и тихо-тихо, как в могиле. Умолкли дочь и мать. Всему наступает конец – и слезам, и рыданиям; хрипнет голос, иссякают слезы, каменеет сердце. На смену слезам приходят тяжелые воспоминания, мысли – одна другой безотрадней, безутешней. В сгущающейся темноте они ширятся, проясняются; минувшее встает перед глазами, точно оно только недавно пережито; приходят люди – живые люди; слышен их говор – живые голоса, их жалобы, смех, радости, слезы...

Не миновали эти мысли Христю и Приську. Забившись в темный угол, Христя тупо глядела в замерзшие стекла, и на их светлом фоне вырисовывались черты покойного отца... ее отца, низенького, плотного, круглолицего, с рыжими усами и карими добрыми глазами. Такой он был – добрый, отзывчивый; недаром говорят: глаза – зеркало души... Он не только никогда не обижал ее, а бывало, и заступится, когда мать начнет бранить. И с людьми он такой же был – скорее своим поступится, чем на чужое позарится. Мать, рассердившись, бывало, скажет: «Что ты за человек? Ты – мямля, за себя постоять не можешь!» А он ей в ответ: «От бешеного пса, хоть полы отрежь, а беги!» И таким она его помнит всегда: даже нетрезвый – сразу ляжет спать, не так, как другие: на копейку выпьет, а домой придет, все вверх ногами перевернет. И вот теперь его нет... «Где он? Слышит ли наши жалобы? Видит ли наши слезы?... Душа, говорят, с девятого дня после кончины летает по свету – может, и его душа теперь среди нас?» Как бы она хотела еще раз поговорить с ним!.. Расспросить, как там – на том свете? Говорят, смерть всех равняет; говорят, на том свете все не так, как тут: здесь было голодно и холодно, там – сытно и тепло; тут душа не знала покоя, там – возрадуется сердце; тут был мужиком, там станешь паном... Значит, и отец ее теперь роскошествует?... Хотела бы она его увидеть паном. Она попросила бы у него и для себя господской жизни... А впрочем, ну ее! Все паны такие неискренние и спесивые – только душу загубишь; пусть уж лучше на том свете... А на этом? Немного бы больший достаток да одежонку праздничную: а то и в будни, и в праздник – все одна! Сапожки бы новые, сережки серебряные – такие, как она видела у Марины, что в городе служит, когда она приходила домой провести родных. Хорошо бы к серьгам и перстень иметь, тоже серебряный, и по руке, а не большой, как у Горпыны: чтобы надеть его, пришлось пряжей обмотать...

И пошла Христя перечислять в уме одну за другой все нужды да вспоминать свои затаенные желания; невелики они, совсем невелики, но даже их нельзя выполнить, и сердце подсказывает, что теперь, со смертью отца, ее мечты уже никогда не сбудутся.

О чем же думает Приська, сидящая на печи, обхватив голову руками? Перед ее глазами проходят прожитые годы – ее доля, горькая доля, которая гнала ее по белу свету, пока не бросила сюда, в Марьяновку. Она – дочь казака, ребенком осталась круглой сиротой: родители от холеры погибли, и родственники все умерли, она одна осталась... у чужих людей, пасла

гусей, свиней, телят, пока выросла. А там пошла батрачить на чужих людей. Наконец вдова-купчиха наняла ее за харчи и одежду прислуживать ей в дороге. Богатой и еще не старой, ей не сиделось на месте, и она металась из города в город – в Харьков, Киев, Одессу. Приська, как верная слуга, всюду ее сопровождала, одевала, причесывала, прибирала за ней.

Однажды они собрались в Киев. Перед отъездом Приське все нездоровилось: болели руки, ноги, голова, так, что свет ей был не мил. Однако пришлось ехать. Добрались до Марьяновки, и Приська совсем слегла. Что было дальше, она и вовсе не помнит; опомнилась уже в хате Грыцька Супруна. Он тогда был приказчиком у пана – и там ее оставила купчиха, так распорядился панский управляющий – немец. Выздоровев, она все поджидала, что вот-вот приедет хозяйка и заберет ее. Да, видно, хозяйку не очень беспокоила судьба Приськи, потому что она слишком уж долго не возвращалась. Приська хотела к кому-нибудь наняться, но Грыцько не пустил ее: «Отслужи, – говорит, – раньше за тот хлеб, что съела во время болезни!» Приська осталась.

Там она и с Филиппом встретилась: он был батраком у приказчика. Одна судьба, одна беда людей соединяет. Грыцько злой, крикливый; жена его Хивря ругает Приську, или Грыцько покрикивает на Филиппа... Служанка и крепостной сблизилась, жалуясь друг другу на свою горькую долю. Однако Приська успела заметить, что у Филиппа карие глаза и шелковистые усы. Филиппу тоже бросились в глаза стройный стан Приськи, ее кроткий нрав и ласковый голос... Все чаще и чаще они начали встречаться. Увидя, что Филипп погнал скот на водопой, Приська тут же хватала ведра и бежала за водой. Или пойдет Приська за топливом в огород, а Филипп уже тут как тут. Кончился срок отработки, а Приська все не уходит со двора Грыцька и жалуется Филиппу на злую Хиврю.

Однажды сошлись они в саду под яблоней. Филипп сторожил сад, а Приська... как она здесь очутилась, сама не знает, а может, и забыла... Не забыла только Приська, как в ту ночь целовал Филипп ее разгоряченное лицо; как он клялся ей в том, что будет любить ее до гроба, и обещал построить новую хату, как только они пожениются и заживут своим хозяйством. Приська не соглашалась, потому что Филипп был крепостным. «Разве крепостные не люди? – спросил он. – И они ведь живут на земле, а не под землей...» Думала-гадала Приська: что у нее есть, кроме сиротской доли? Голая, босая и простоволосая, а впереди... нужда и нехватка во всем, вечная работа на чужих... Хорошо еще, пока есть здоровье и силы; а если заболит, вот как недавно случилось? Без родных, без пристанища – хоть ложись под забор и околевай, как бездомная собака. Правду говорит Филипп: и крепостные живут на земле...

И она согласилась. Пошли к управляющему, а тот еще похвалил за то, что она не побоялась стать крепостной. Сказал, что, может, у других барщина страшна, а у них не то... и хату новую обещал, и огород, и землю. В первое воскресенье они и повенчались. Хотя управляющий и обманул их, надавав столько обещаний, но разве ей не все равно, на кого работать? Работала на купцов, теперь будет работать на пана: обьеженная лошадь везет безотказно. Да и управляющий не во всем их обманул: хоть не дал огорода и новой хаты, а велел жить по-соседски с Грыцьком – все же у них свое хозяйство. Грыцько, правда, бранится – что за напасть, все на его шею! Хивря ославила Приську на все село: и такая она, и сякая, и неряха, и неопрятная! Но Филиппу и Приське все равно, им не привыкать к брани. Живут они вдвоем тихо да мирно. Через год родился у них сын Ивась, а на другой – дочка Христя. Ивась недолго жил, а Христя росла и росла. И матери отрада: вырастет – помощницей будет.

Так прошло тринадцать лет; на четырнадцатый пришла радостная весть о воле. Это не был слух, какие всегда ходили среди крепостных, а правда – про это и поп читал в церкви. Свободней вздохнули Филипп и Приська: теперь-то они заживут на воле! Через два года получили долгожданную волю. Филиппу дали землю, две десятины. Сколотил он деньжонки на хату – свою хату!.. Господи, какая же это была радость для Приськи. Как она сил своих не щадила, замазывала каждую щель, чтобы в ее хату холод не проник зимой, а дождь летом. Хоть

и дорого им это обошлось, все же легче в своей хате – не слышно постоянной ругани Грыцька и упреков Хиври. Работает Приська в своем маленьком огороде, а Христя помогает. Радует сердце матери, как растет на воле ее дочка. «Тяжело и горько нам жилось, – думала Приська, – может, детям лучше будет?» И она лелеяла надежду: даст Бог, найдется хороший человек для ее Христи, и примем зятя в хату. Филипп уже стареет, и у нее силы убывают, пусть молодые на глазах у старых учатся вести хозяйство; отдадим им все.

Так мечтала Приська, а вышло как?... Что ей теперь делать, как жить на свете? Кто будет в поле работать? Кто заплатит выкуп за землю, подати? Тяжело пришлось им и от того, и от другого... В прошлом году они наконец собрались и купили корову – души не чаяла Приська в приглянувшейся ей телке. Год, как на беду, выдался неурожайный, еле для себя хлеба хватило, а о том, чтобы продать, и не думай. И заработать негде. Около других сел и пивоваренные заводы, и винокуренные, и сахарные, а у них хоть бы что... А тут пристают – давай подушную подать!.. С весны не заплатил первую половину – осенью отдай все! Ругался Филипп со сборщиком, бранила его и Приська. Потом приехал становой, забрал телку и продал ее резнику. Приська чуть не слегла от горя и слез. Но тогда все же Филипп был, он за все отвечал. А теперь? Теперь придут и всю хату растащат. Что она может сделать, больная, немощная? Теперь Грыцько ее сживет со света. Сердце Приськи обливало кровью. Да хоть бы умер, как люди, дома, а то хотел сделать, как лучше, а выходит – за смертью пошел. Вот теперь ей только и осталось привезти его труп. Как же в такой холод идти в город? У нее ни одежды теплой, ни обуви нет. А если она и доберется как-нибудь – что же, она на руки возьмет его и поплетется домой? А надо еще хоронить, заплатить попу... Господи! У нее же нет ни гроша; последний рубль отдала она ему на соль. Что же, так и бросить его? Пусть его возьмут, распотрошат и закопают как собаку, без попа, без обряда церковного?... В чем его вина?... Разве он сам себя жизни лишил?... Так Бог дал, такая уж, видно, его воля.

И начинает Приська молиться Богу, выкладывает перед ним свое горе. Но напрасно она ломает руки, напрасно подымает глаза к небу: там на холодном чистом шатре только слабо мерцают звезды. Равнодушно глядят они на землю, как гаснущие искры, отражаются в снежинках, словно играют своим светом. А небо, глухое, как пустыня, холодное и немое, точно камень, темным куполом распростерлось над землей, морозом сковало ее, давит, словно хочет задавить ее.

Кто же ее услышит?... Разве жители села? Да и те, вероятно, спят: ни одно окошко не светится, собака и та не залает, все уснуло мертвым сном. Дома, словно могилы, чернеют на снегу. Молчаливые и глухие, они ничего не говорят о том, что творится в них. Счастливая ли доля оберегает сон их обитателей, или горе не дает им забыться в спасительном сне, и они мечутся в смятых постелях?... Точно укрываясь от холода, хаты, казалось, теснее прижались к земле, и только дым, поднимающийся над трубами, свидетельствует о том, что внутри еще теплится жизнь.

Лишь над хатой Притыки не видно дыма. Как услышала Христя про батьку, так забыла обо всем на свете. Огонь в печи тлел, тлел и погас; тепло ушло в незакрытую трубу; недоваренный обед застыл. Наружную дверь Здориха, уходя, забыла прикрыть, из сеней шел холод; в хате хоть волков гоняй! А Приська и Христя не замечают этого. Огнем обжигает их горе, жгут горячие слезы. Горит голова, горят глаза, от горячего дыхания сохнут и лопаются губы.

Ночь проходит. Сереет небо, покрытое тучами, подслеповатыми глазами глядит на землю мутное утро. Зачем? Какую утеху принесет оно, какой выход укажет?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Из счастья и горя куется судьба – говорит народная поговорка. Только Приськина судьба складывалась не по-людски. Горя у нее и позади и впереди – не окинуть взором, не измерить. А счастья? Только неясные думы о счастье, только напрасные надежды, которые всегда обманывали, разбивались об острые пороги опостылевшей жизни, полной нужды и лишений, утрат...

До сих пор и это было хорошо. Хоть обманчивые надежды красили злосчастную долю. А теперь? Ни одной, самой маленькой, надежды не осталось. Чуть заметно, как уголек среди пепла, тлеет ее сердце, еле обнаруживая признаки жизни; оно еще бьется, чего-то хочет... Так гниет дерево на корню; уж и ветви засохли, и ствол трухлявый, а оно все стоит; ветер ломает сухие сучья, внутри их точит червь, всюду дырки, дупла, один ствол – и тот сгнивший, а оно стоит! Не ветер нужен, а буря, чтобы повалить его. И оно, поскрипывая, дожидается этой бури.

Ждет и Приська свою. А ее все нет! Мысли, как черви, шевелятся в голове, подтачивают ее больное сердце, подрывают последние силы. Вот уже третий день она думает, как попасть в город. Ложась спать, решает: завтра... завтра непременно соберусь... А назавтра жизнь снова ставит свои препятствия: с чем туда сунуться, да и к чему? И снова мучительные думы терзают ее до вечера; целый день держат ее в своих клещах, чтобы к вечеру внушить несбыточную надежду на завтра.

Так, откладывая со дня на день, и не пошла она в город. На третий день из волости прибежал староста и напустился на нее с бранью.

– Все на нас полагаетесь! – кричал он. – А кому это дело ближе – жене или старосте? Постыдилась бы! У меня своих дел не оберешься: что ни день из-за вас, чертей, в волость тягают, а тут еще в город иди, признавай всякого пьяницу, который замерзнет на свалке!..

Через три дня он снова пришел; принес новые сапоги, узелок с солью и платок.

– И денег, – говорит, – пять рублей было, но их на подушную в волости оставили.

– Там же только три рубля им следовало, – сказала Приська.

– Это не мое дело. В волости оставили. Поди сама, там узнаешь.

Староста ушел. Приська глядит на приношения – вот что теперь осталось от Филиппа!.. А Христя еще подливает масла в огонь, говорит матери:

– И платок новый купили, и сапоги... да такие маленькие и красивые! Кому же? А это – соль. Еще что-то в узелке есть.

Она вынула какую-то пачку и начала ее разворачивать. Глаза ее разгорелись, когда она увидела три шелковые ленты, сережки с подвесками. Это уже только ей куплено!..

– Смотрите, мама, что отец мне купил, – говорит она матери.

Приська молча отвернулась. Ей горько было слушать слова дочери, больно глядеть на эти покупки. Во что они обошлись? Она, словно окаменевшая, глядела на все это, припоминая случившееся.

Миновала еще неделя. Дни и ночи ползли, как черви, все дальше и дальше отодвигая в прошлое постигшее Приську несчастье. Оно еще, правда, было близко, смотрело на нее своими мертвыми глазами; но, с другой стороны, и жизнь не оставляла ее в покое, она властно стучалась, заводила свою бесконечную песню.

Вот скоро праздник – Рождество... Ежегодно, как ни горька была ее жизнь, а к кутье и кусок рыбы отыскивался, и пироги; ради Рождества и колбасу покупали. А теперь? Где все это взять? А как тяжело ничего не иметь к празднику? Так горько было Приське от этих дум, точно она полыни наелась. Она вспомнила о деньгах, оставленных в волости. За что они удержали лишних два рубля? Разве не все с нас взяли, что нужно было? Пойду, пойду, свое возьму. На гривенник колбасы куплю. Здор кабана колет, за гривенник отдаст колбасу... Может, он или

кто-нибудь другой поедет в город – попрошу солонины купить... тоже на гривенник... еще на черный день останется.

На другой день она пошла в волость.

– Тебе чего? – спрашивает старшина.

– За деньгами, – кланяясь, отвечает Приська.

– Какие тебе деньги?

Приська сказала.

– Деньги взял Грыцько. Он сказал, что так и следует. Иди к нему.

Но как же ей идти к Грыцько после горькой обиды, которую он ей нанес? Нет, она ни за что не пойдет. С какой стати ей идти к нему, если деньги прислали в волость?

– А может, Грыцько сам придет в волость, а то к нему идти... и дойду ли я? – говорит Приська.

– Может, и придет. Дождись.

Приська присела на крыльце. В волости суeta, беготня: один идет туда, другой выходит, третьего ведут... Прыщенко важно выступает и, сверкая глазами, спрашивает: «Ну что, взял?» За ним Комар, низко наклонившись, глухо бубнит: «Засыпал деньгами, а ты еще спрашиваешь, взять ли? Да еще погоди хвастать... что еще посредник скажет». «Сунься, сунься к посреднику, – кричит Прыщенко. – И посредник тебе напоеет!...» И пошли со двора.

За ними выходит Луценчиха, багрово-красная, и сердито ворчит:

– Что это за суд? Какой это суд? Три дня продержали, еще три дня сиди! Дома полный разор, а он одно – сиди! Где это видано – неделю держать человека в холодной?...

– Гляди, как мужа жалеет; сама пришла вызволять... соскучилась! – донеслось из толпы.

Луценчиха презрительно оглядела толпу, плюнула и удалилась; хохот сопровождал ее.

«Всюду свое горе, – думала Приська, – а чужим только смех».

– А вот Грыцько череду за собой ведет! – сказал кто-то.

Приська глянула. По дороге, размахивая палкой, шел Грыцько, а за ним плелись, понурившись, человек десять крестьян.

– И это все на отсидку, – заметил другой.

– Конечно! – добавил третий.

Кое-кто захохотал.

Грыцько приблизился к крыльцу. Среди следовавших за ним Приська узнала Очкура, Гарбуза, Сотника, Воливоду. Подойдя к крыльцу, Грыцько поздоровался.

– Тут старшина?

– Тута.

Он вошел в помещение волости и вскоре вернулся оттуда вместе со старшиной.

– Вы почему не платите подушной? – крикнул тот.

– Помилуйте, Алексеич! Разве вы не знаете, какая осень была? Заработка никакого!

– А на пропой есть? – крикнул старшина.

– Из шинка не вылезают, – тихо сказал Грыцько.

– В холодную их! – приказал старшина.

Десятники повели всех в холодную. У Приськи заколотилось сердце. «Ну за что, про что? – стучало у нее в голове. – Разве они виноваты, что не было заработков? Господи, доколе же они будут с бедных людей шкуру драть? И что им поможет, если они будут держать людей в холодной?» Раньше ей никогда не верилось, когда Филипп, бывало, рассказывал, что его хотели посадить в холодную и он еле отпросился. Теперь она все это видела своими глазами. И Луценко сидит за то же. Она слышала, как ему угрожал Грыцько. Видно, Луценчиха жаловалась, да ничего не вышло, только посмеялись над ней. Они и над этими несчастными смеются. Ни жалости, ни сердца нет у них!.. Настоящие собаки, прости, Господи!

Задумавшись, она и не слышала, как старшина допрашивал Грыцька.

– А ты зачем с этой два рубля удержал?

– С кого? – словно не знал, о чем идет речь, в свою очередь спросил Грыцько.

– Хозяйка! Как тебя? О тебе говорят, – сказал ей кто-то из стоявших поблизости.

Приська поднялась и подошла к старшине.

– С нее? – спросил Грыцько.

– Да.

Грыцько усмехнулся.

– Вы же знаете, что мне пятирублевую бумажку дали, сдачи не было. Два рубля у меня осталось; я ей отдам.

– Так вот у него твои деньги, – сказал ей старшина и пошел в канцелярию.

Грыцько двинулся за ним. Приська потянула его за рукав.

– Когда же ты отдашь деньги, Грыцько? – тихо спросила она.

– Тьфу! Как собака пристала! – огрызнулся Грыцько. – Когда будут – отдам. Я про них забыл и отдал вместе с подушной.

– Как же это, Грыцько? С меня следовало три рубля, а ты пять взял.

– Знаю, что три. Я три и посчитал, а пять отдал.

– А мне кто отдаст?

– Кто? Известно, свои придется выложить.

– Так дай сейчас, мне очень нужно.

– Где же я тебе сейчас возьму? С собой денег не ношу. Приди домой, отдам.

– Когда ж прийти?

– Да после праздников приходи.

У Приськи в глазах помутилось.

– Как после праздников? Мне до праздников нужно.

– Что с тобой говорить! Где же я тебе сейчас возьму? – крикнул Грыцько, махнул рукой и скрылся за дверью.

– С него получишь, если лишнее взял! Он отдаст! – слышались возгласы.

– Он у меня полтинник заел...

– А у меня рубль; да еще в холодной поморозил...

– О, на это он мастер! Еще с панцины научился с людей шкуру драть!

Приська вернулась домой задумчивой и нерадостной. Грыцько уже начинает измываться над нею, а это только начало. Сегодня при всех собакой назвал ее. Подумайте! За что? За то, что свое потребовала? Верно говорят – кровопийца! И так глубоко запала в ее душу обида, так берет за сердце, что Приська места себе не находит. Как гвоздь, вошла она в голову. И она не может ее забыть. Нет, я этого так не оставляю. Зачем мне тебя спрашивать, когда прийти за своим? Взял – так отдай! Говорит: нет у него. У кого? – У него нет... Нет, нет... сегодня же пойду. Пообедаю и сразу же пойду. И не уйду из твоего двора, срамить буду перед всем селом, пока не отдашь.

И Приська, пообедав, пошла. Грыцька она застала за обедом. Его глаза встревоженно перебегали с одного предмета на другой, лицо хмурое, чуб торчмя – признак, что Грыцько уже выпил.

– Скоро пришла! – глухо произнес он, увидав Приську.

– За своим, – ответила она резко.

– Подожди же, пока пообедаю, – не то издевательски, не то угрожающе сказал Грыцько.

Приська села на край нар, ждет. В хате тихо; только слышно, как стучит ложка, как шлепает Хивря от печи к столу, как сопит Грыцько. Никто и словом не обмолвится, будто онемели. Но молчание это гнетущее, грозное... Кажется, достаточно произнести первое слово, и оно, как ветер, раздует пламя пожара, и разгорится жаркий, буйный спор.

Приська, понурившись, сидит, прислушивается к этой враждебно-настороженной тишине; глядит, как сверкают злые зеленые глаза Хиври и как по-разбойничьи, исподлобья пялит глаза Грыцько.

Вот обед и кончился. Грыцько встал, перекрестился, принялся набивать трубку.

– Подожди, пока выкурю, – с глумливой усмешкой говорит Грыцько, выходя из хаты.

Приська вся затряслась. Сидит, молчит, дожидается. Не скоро вернулся Грыцько.

– А ты все ждешь? Подожди же еще, пока выплусь, – говорит Грыцько, ехидно улыбаясь.

Приська не выдержала. Словно кто-то хлестнул ее кнутом изо всех сил – она рванулась, и слезы градом посыпались из ее глаз.

– Грыцько! Бога побойся! – сквозь слезы произнесла она. – Мало ты издевался над нами при жизни Филиппа? Мало крови с нас выпил, когда жили у тебя? Так еще над несчастной вдовой и сиротой потешаешься!.. Бог все видит, Грыцько. Не тебя накажет, так детей твоих.

Туча-тучей посмотрел на нее Грыцько; глаза загорелись от злобы.

– Ты еще грозиться пришла? – крикнул он.

– Бог с тобой, Грыцько! Не грозиться, а за своим пришла. Бога вспомни... Праздник святой идет... Ты будешь есть и пить, а тут гроша нет за душой...

– Денег, говоришь, нет, – откликнулась Хивря, гремя горшками, – а Святки справлять хочешь.

– Разве если мы бедные, так нам уж и есть не надо? – сказала Приська.

– А я тебе вот что скажу, Приська. Коли беда, так еще с перцем!.. Если бы все не проедали и не пропивали, то деньги были бы у вас.

– Хорошо так говорить тому, у кого они есть. А когда и то нужно, и другого не хватает... и подушную заплати, и выкупные отдай... А заработки наши какие? Покойный же один был работник.

– А дочка? Здоровая кобыла такая! Зачем ты ее дома держишь? Пусть пошла бы к людям послужить. Заработала бы, как другие. А то сидит дома и зря хлеб ест.

– Легко тебе, Хивря, говорить, на других глядя. А если бы тебе самой пришлось так бедствовать, не то бы запела.

– С дурной головы и ногам нет покоя! – ответила Хивря.

Приська умолкла. Она увидела, что все ее слова здесь ни к чему. А Хивря каждым своим словом норовит уколоть; лучше уж молчать.

Все молчали насупившись.

– Так как же, Грыцько? – снова начала Приська.

– Я тебе сказал – в волости. Не слыхала? – крикнул он.

– Почему не слыхала? Небось не глухая. Дай же хоть рубль сейчас, а другой уж пусть после праздника.

– Да отдам ли еще после праздника? – зевая, сказал Грыцько.

– Ну, это уж глупости, Грыцько! В суд подам! – пригрозила Приська.

– Подавай... Зачем же ты пришла? Иди подавай! – сердито сверкая глазами, сказал Грыцько.

Хивря покачала головой и тяжело вздохнула.

– Господи! Как это люди забываются! – напустилась она на Приську. – Когда ты такой умной стала? После того, как овдовела? Как у нас жила, хлеб-соль ела, на суд небось не подавала... Старое добро, видно, скоро забывается.

– Что я у вас, даром хлеб ела? Не работала на вас? И когда замуж вышла – панщину на вас отрабатывала. Уж кому, а тебе, Хивря, грешно так говорить!

– Грешно!.. А когда лежала у нас, как та колода, три недели валялась... кто за тобой ходил? Чьи руки не знали отдыха, возясь с тобой? И опять же забыла ты, за кого замуж выходила?

Приська смолчала. Хивря все помнит, забыла только, что, как только Приська выздоровела, она вся измоталась, день и ночь работая на нее. Молчит Приська, а Хивря ее отчитывает:

– Или когда волю объявили. Кто, как не Грыцько, помог вам хату поставить? Он вам и лесу дал на стропила и подпорки. Хоть он и панский, а все же другой приказчик не дал бы. А на кровлю дранку дал... Забыла?

– Что же мне делать, Хивря? – всхлипывая, сказала Приська. – Я помню, спасибо вам. Но подумайте сами: такой праздник идет. У меня же нет ничего. Эти два рубля – последнее, на них только и надежда.

– Где же ты их возьмешь, коли нету? Займи у кого-нибудь, – советует Хивря.

– Кто же мне даст? – плача, говорит Приська.

– Ну, чего вы тут развели турысы на колесах? – сердито крикнул Грыцько. – Болтают вздор обе! Она грозит в суд подать... ну, иди подавай... Страшен мне суд, куда как!.. И нечего тут слюни распускать. Иди – подавай!

Приська поняла, что ее выгоняют. Еще пока полегоньку, а когда Грыцько разоидется, то и кулаки пустит в ход. Разве долго ему рассердиться?

– Господь с вами! – вытирая слезы, произнесла Приська. – Не даете – сами пользуйтесь! Вам больше нужно... Куда мне уж подавать на вас в суд?

И, наклонив голову, вышла из хаты.

– Я так и знал, что придет эта чертова баба! – вслед ей сказал Грыцько.

– Походит, походит, да и отстанет, – сказала Хивря. – А мне новый платок на праздник будет.

Тяжелые мысли и горькая обида гнали Приську домой; болело сердце, слезы заливали глаза. Что ей теперь делать? Жаловаться старшине? Она уже однажды жаловалась ему, а что толку?... Все они друг за дружку держатся, как черт болота, все одним миром мазаны.

Грустная пришла Приська домой. Христя ее радостно встретила:

– Куда же вы, мамуся, ходили, что так замешкались? Жду, жду, не дождусь никак!

Приська, тяжело дыша, безмолвно опустила на нары.

– А вы и не замечаете, что я в новых сапожках? – щебечет Христя. – Посмотрите, как раз пришлись по ноге, будто на заказ шиты. Таких во всем селе ни у кого не найдешь: из юфти... Глядите же!

Приська с досадой посмотрела на дочь.

– Уже надела! И трепать их начнешь! Больно спешишь. Скинь их и положи на место... За новые больше дадут.

– Как? Разве вы хотите их продать? – с тревогой в голосе спросила Христя.

Приська молчала.

– Это же отец мне купил... Старые уже стоптаны... скоро продырявятся, – бормотала Христя, снимая сапоги.

Как недавно еще радовалась она, примеряя их, и они, как влитые, охватили ее ноги; маленькие, а хоть бы где-нибудь жали!.. Пусть теперь Горпына спрячется со своими, хоть они и на заказ шиты. Так думала Христя, представляя себе, как все будут удивлены, когда она на праздник наденет новые сапожки, как будут ей завидовать. А вот пришла мать и рассеяла все ее мечты – продавать их вздумала.

Печаль острыми когтями скребла девичье сердце, омрачились еще недавно веселые думы, на глаза навернулись слезы.

– С какой стати продавать их? Это мои... Ну, старые продайте. Зачем было и покупать? – жаловалась Христя.

– Молчи! – крикнула Приська. – Хоть ты мне не растравляй душу, и без тебя растравили.

Христя, чуть не плача, сняла новые сапоги, поставила их на шесток и принялась за работу. Приська, немного отдохнув, уселась за прялку. Она медленно сучит и вытягивает нитку

за ниткой; Христя склонилась над вышивкой. Слышно, как жужжит веретено и шуршит ткань в руках Христи. Приська слегка покачивается над прялкой; Христя ниже склонилась над сорочкой. Невеселые думы омрачили их головы и согнули спины. В хате тоскливо, тихо, сумрачно. И некому нарушить эту тишину, некому рассеять тоску... Вот скрипнула дверь в сенях. Ни Приська, ни Христя не поднимают головы, не оглядываются. Кто к ним придет и зачем?

– Здоровеньки были! – раздался с порога молодой женский голос.

– Тетя Одарка!.. Здравствуйте! – первой откликнулась Христя.

– Здорово, Одарка! – глухо произнесла Приська.

– А я вхожу в сени, слушаю – тихо. Думаю, нет никого, и так несмело иду. А они, глядь, сидят и горюют.

– Вот, как видишь, – говорит Приська.

– Мы недавно пообедали. Малыш мой уснул; Карпо ушел. Скучно одной. Пойду, думаю, проведаю тетку Приську, как она там.

– Спасибо тебе, Одарка, – вздохнув, говорит Приська. – Только ты еще добра к нам, а то, кажется, весь мир отвернулся от нас. Садись, пожалуйста, поговорим. Сегодня я впервые после несчастья выходила со двора.

– Где же вы были?

– Куда только я не ходила!

И Приська рассказала Одарке, куда и зачем ходила и чего добилась.

Глухо звучала ее тоскливая речь; молча слушали Одарка и Христя; безрадостен был рассказ.

– Такая тоска взяла меня, Одарка, такая досада!.. Христя плачет, а у меня так сердце запеклось, что и слезы не идут... Кабы земля расступилась, так провалилась бы.

– Бог с вами! – утешает ее Одарка. – У вас вон дочка есть; надо ее в люди вывести, устроить. Кто о ней позаботится без вас?

– Добрые люди, Одарка, если они еще не перевелись на свете; хуже ей не будет. Я прожила свой век сиротой среди чужих и, видите, не пропала; будет беречься – и она проживет; а не будет – это ее дело... А мне уж хватит мучиться на этом свете, глядеть на него не хочется.

Одарка, обычно веселая и разговорчивая, слушая эти печальные речи, и сама загрустила. Ей казалось, будто выходец с того света жалуется на свою горькую долю. Вот-вот замрет последняя жалоба на ее устах, и она умолкнет навсегда. «Такая наша жизнь, такая нам выпала доля!» – думает она, глубоко вздыхая. А Христя еще ниже наклонилась к шитью и молчит. Одна Приська не унимается.

– Такая ли у нас жизнь, Одарка, чтобы жалеть о ней? Одни горькие слезы, людские укоры, нужда и горе. Вот праздник идет; другие радуются: для них праздник – отдых, гулянка; а нам чему радоваться? Чем его встречать и провожать? Ни взвару, ни рыбы, ни колбасы, чтобы разговестись, и купить не на что. Думала я, что Грыцько отдаст хоть рубль; говорит, что нет у него, а я знаю, что есть... Что ж делать? Новые сапоги купил Филипп Христе; она рада обновке, а теперь придется эти сапоги продать или заложить. Вот тебе и радость!

И Приська заплакала. Начала всхлипывать и Христя.

– Не плачьте, вот послушайте, что я вам скажу, – начала Одарка. – Какая вам рыба нужна? Соленая? Завтра или послезавтра Карпо поедет в город; я ему дам свои деньги, скажу – вы дали. Пусть купит. А вы отдадите.

– Одарка, голубка моя, – сквозь слезы сказала Приська, – сам Бог тебе заплатит за то добро, что ты для нас делаешь.

– Да стойте, не перебивайте, – снова начала Одарка. – На двугривенный или на пятиалтынный?

– И на пятиалтынный хватит.

– Ну ладно. А взвар у меня есть. Фасоли или гороху вам надо будет – берите сколько угодно; у нас его никто не ест, а вам, может, для пирогов пригодится. Пусть Христя идет со мной, мне уже пора – дитя, верно, проснулось, – да и возьмет сколько вам нужно.

Христя, идя вслед за Одаркой, говорила ей:

– Спасибо вам, тетечка, большое спасибо! Вы так нам помогли: теперь, может, и сапожки не продадут... А то подумайте сами, праздник идет, старые сапоги совсем износились, а новые задумали продать. Такая меня досада взяла, когда мама сказала: положи их, за новые больше дадут... Так и заколотилось сердце. Другие к празднику обновки себе справляют, а мне сапожки купили, так и те отбирают!

Слушая быстро льющуюся речь Христи, Одарка вспомнила свои девичьи годы. Так и она когда-то радовалась каждой обновке. А теперь?... «Все это исчезнет, как призрак, – думала она. – Все минет, забудется, когда взглянешь в суровое лицо жизни... Куда девичья радость денется, куда веселые думы улетят? А вспомнишь эти счастливые годы! И беда не страшна, и слезы быстро высыхают...» И Одарка с удовольствием слушала щебетание Христи.

Впервые за это время легче вздохнула Приська. Словно кто-то камень снял с сердца, остановил слезы. Неясные мысли плывут в голове. «Хорошо, когда добрый человек найдется... хорошо...» – шепчет она.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Наступил и канун праздника – сочельник. Благодаря Одарке Здорихе Приська встречает его не как-нибудь; и еды вволю, и пирогов, еще и водки осьмушку купили. Всего понемногу, да некому есть, некому пить, некого поздравлять. Надкусив пирог, Приська вспоминает Филиппа и плачет. Какая уж там еда, когда слезы заливают глаза. Глядя на Приську, плачет и Христя. Больше слезами, чем яствами, расставленными на столе, насытились они и невеселые легли спать.

Наступили Святки. Пока собирались и наряжались в церковь, пока там молились – все было похоже на праздник. День выдался погожий, солнечный; потоки света льются с неба, ярко сверкает земля в белоснежном уборе; даже глаза слепит от сияния. И не очень холодно; морозец небольшой. Во дворах, на улице, около церкви толпятся люди, да все в праздничной одежде, чисто вымытые, румяные. Праздник чувствуется во всем – и в выражениях лиц, и в праздничном, согретом солнцем, воздухе; и дышится как-то легче, и горе забывается; на душе радость, покой. Вместе с другими повеселели Приська и Христя. Приська молилась в церкви, а Христя болтает с подружками на кладбище. Она так давно с ними не встречалась: после Николина дня ни разу не выходила ни на посиделки, ни на поприхи [Поприхи – дневные сборища девушек в чьей-нибудь хате для совместного прядения.]. Как привязанная просидела почти три недели около матери. Девушки оглядывают ее, хвалят ленты, монисто, сережки, любят сапожками, рассказывают, что без нее происходило на посиделках: как чернявая Ивга поссорилась с Тимофеем и ходила к ворожее, чтобы та их помирила; как Федор ежедневно спрашивал, не видел ли кто-нибудь ее, Христю.

– Он тебя крепко любит, хоть отец и ругает его, – сказала Горпына Педькивна, подруга Христи, высокая белокурая девушка, первая хохотунья на селе.

– А мне все равно, – сказала Христя.

– Вот вспомни черта, а он и рога выставит! – крикнула, смеясь, Горпына.

Христя оглянулась. Прямо к ним шел парень, высокий, белокурый, в синем суконном кафтане, подпоясанном коломьянковым кушаком, в серой барашковой шапке. Это был Федор Супруненко.

– Здорово! С праздником! – приветствовал он девушек, подходя к ним.

– Здорово! – ответили девушки, а Христя промолчала. Пока Федор здоровался с другими, она отошла немного в сторону, а потом скрылась в церкви. Федор послушал девичье смешливое перешептывание и, ничего не сказав, удалился в церковь. Дружный девичий хохот проводил его, но он и не оглянулся.

– Вот так привяжи хлопца и води его за собой! – сказала низенькая рябая Педора.

– Вольно ж ему, как сумасшедшему, самому на глаза лезть, – сказала Горпына. – Христя от него убегает, а он, как репей, прицепился.

– Что вы тут обо мне мелете? – отозвалась Христя, незаметно подойдя к девушкам.

– Да вот Педора завидует тебе, что Федор, видишь, не за ней увязался, – смеясь, сказала Горпына.

– Он, кажется, скоро за всеми будет бегать, как щенок, – мрачно ответила Христя.

– Муха такая укусит!.. – шутит Горпына. – Вот если бы со всеми хлопцами то же было!

– То что б тогда случилось? – спросила какая-то девушка.

– Может, наша чернявая Ивга вышла бы замуж, – говорит Горпына. – А то пришла в церковь Богу молиться, но увидела Тимофея... Он от нее удирает, по пояс в снегу увяз, а она за ним – бежит наперерез. Застукала его в проходе между оградой и деревьями и до сих пор там торчит.

– Богу молятся? – сказал кто-то, и неудержимый хохот раздался в ответ.

– Да тише вы, не гогочите... еще батюшка в церкви услышит, – предостерегает кто-то из толпы.

– Если батюшка – то не беда. А если старый дяк услышит, – говорит Горпына, – то заставит ему подпевать. Вот горе будет!

Девушки снова дружно хохочут, а Горпына не унимается, все болтает и шутит без умолку. Христя тоже смеется. Да и как удержись – эта Горпына, кажется, и камень рассмешит.

Время идет быстро. Не заметила Христя, как из церкви вышли, а тут подошла мать, дернула ее за рукав и сказал:

– Пора домой.

– Гляди ж, Христя, я за тобой забегу, пойдем колядовать.

Вернулась Приська с дочерью домой, да лучше бы не возвращалась!.. Христе еще мерещится девичий смех, их веселые прибаутки, поговорки, а здесь, в хате, тихо и тоскливо. Мать такая невеселая. Сели разговляться, а Приська в слезы.

Хорошо праздновать счастливым да богатым, а если горе на душе, тоска грызет сердце, тогда и праздник не в праздник! Время ползет, словно калека, тоска гадюкой обвилась вокруг сердца, безотрадные мысли полонили голову. В будни хоть забавы и хлопоты отвлекают от тяжелых дум, а в праздник им раздолье, ничто их не рассеет. И даже веселье других вызывает грустные воспоминания: раньше было не то, оно радовало, а теперь?... Никогда уже не вернется это время. Плачут горькими слезами люди о безвозвратной потере. Плакала и Приська.

После обеда на минутку забежала Одарка Здориха. Молодая, пышущая здоровьем, она, как птичка, наполнила хату своим веселым щебетаньем и, как птичка, упорхнула.

«Счастливая, здоровая, – подумала Приська. – А у меня ни счастья, ни здоровья...»

Она легла отдохнуть, но ей не спалось.

Христя тоже скучает, не знает, куда деться. Посмотрит на мать, молчаливую и тоскующую, и побежит на улицу поглядеть на людей, снующих парами и в одиночку. Издалека доносятся девичья песня, громкий говор хлопцев. Она побежала бы туда, там и время пройдет незаметно, но мать не разрешает. Еще хорошо, что обещала пустить на колядки, а то давеча она говорила: зачем ты пойдешь? Надо ли тебе туда ходить? Давно ли отца схоронили, а у тебя песни и забавы в голове... Словно тупым ножом резали эти речи сердце Христи, напоминали о случившемся несчастье, о сиротской доле. Ей слышались людские укоры: не успела отца похоронить, а уже идет на гулянку!.. Печальной и назойливой кажется ей веселая песня. Но, как назло, звонкие девичьи голоса доносятся до ее слуха... льется знакомая и любимая песня... она звенит в ее сердце, так и хочется подхватить ее, запеть во весь голос. Христя отворачивается, чтобы не слушать ее, а вокруг гомонят захмелевшие люди, возвращаются домой и вслух высказывают свои затаенные думы. А пройдут дальше, тихо станет – и снова тоскливо делается. «Господи! Хоть бы день скорее прошел!» – думает она.

В сумерки забежала Горпына.

– Скорее, Христя, одевайся, уже все наши в сборе.

– Куда это? – спрашивает Приська.

– Колядовать, мама.

– Лучше бы ты не шла, дочка.

Христя посмотрела на Горпыну.

– Тетечка, голубушка, – затарахтела Горпына. – Пустите ее. Пусть хоть немного проветрится. Вы ж поглядите, как она извелась.

Приська только рукой махнула.

– Да иди уж... Что с вами поделаешь? Не балуй только там.

Подружки рады-радешеньки, взялись за руки и побежали со двора.

Приська осталась одна. Нудно ей и тяжело в хате, одолевают невеселые мысли. Она вышла на улицу.

Смеркалось. Голоса колядующих уже доносились со всех концов села; возвращались домой гости; слышался воркующий женский говор и грубоватая мужская речь. Село было полно веселого гомона, словно спешило шумно повеселиться перед наступлением ночи; там скликали свиней; там ревела скотина в стойлах; во дворах сновали женщины с подойниками в руках.

«Хлопочут люди, а мне заботиться не о чем», – думала Приська, выходя из калитки на улицу. Около соседнего двора стояла Одарка и смотрела на прохожих.

– Здравствуйте, тетка, – крикнула она Приське. – Проветриться вышли?

– Как видишь... Христия пошла колядовать, а меня тоска выгнала из хаты. Пойду, думаю, хоть погляжу на людей.

– Вы бы, тетечка, к нам пошли посидеть. Карпо, как ушел после обеда, так еще не возвращался. Дети беспокоятся: где отец? Вот вышла поглядеть. Где-то, видно, задержался... Идите к нам, тетечка! Уже Миколка по вас соскучился. Почему, мама, бабуся к нам не ходит? – все допытывается.

– Спасибо тебе, Одарка. Я б и пошла, так не на кого хату оставить.

– А вы заприте хату. Кто там придет? Идите, тетечка, посидим, погутарим.

Приська не заставила себя долго просить. Запереть хату было нечем; хорошо, что на сундуке замок есть, а то еще и хату запирают. Да и от кого? В селе свои люди, всем известные, наперечет, на виду. А какой чужак забредет теперь в село? Закрыла Приська дверь, сквозь щеколду палку просунула – и все.

Детвора несказанно обрадовалась Приське.

– Бабуся, бабуся пришла! – закричал Миколка и забрался на руки к Приське.

– Ба-ба, ба-ба, – лепетала маленькая Оленка, простирая к Приське ручонки.

Дети очень любили Приську. Она умела их забавлять. То, гляди, хлебушка принесет и говорит: это я у зайца отняла. А детям этот черствый кусочек хлеба кажется вкуснее медового пряника. И на этот раз Приська захватила с собой два пирожка с фасолью, и малыши принялись их с аппетитом уминать. Одарка тоже была рада госте – с ее приходом угомонились дети, да и самой приятно с добрым человеком словом перемолвиться.

Завязалась беседа. Одарка вспоминает свою жизнь, Приська – тоже. Хотя речи были не особенно веселые, но за разговором они не заметили, как стемнело. Дети, наигравшись вдоволь, захотели спать. Приська уже собралась домой, но Одарка воспротивилась:

– Посидите, тетечка. Поговорим еще. Я колбасу поджарю, закусим; а тем временем, может, и Карпо подойдет.

У Приськи почему-то сердце заболело, когда Одарка упомянула Карпа. Почему же? Вспомнился ей Филипп, которого ей также приходилось ждать... Теперь она уже его никогда не дождется! Сердце ее словно клещи сдавили.

Одарка, не мешкая, разогрела колбасу, зажарила яичницу и просила Приську закусить. Только Приська взяла кусок колбасы и поднесла его к губам, как за дверью кто-то завозился.

– Это, должно быть, Карпо, – сказала Одарка. И не ошиблась.

Карпо – еще молодой человек, осанистый, широкоплечий, крупный в кости; голова большая, круглая, как тыква; глаза серые и всегда спокойные, ясные, казалось, никогда не видели горя. И голос у него ровный, приятный и вид добродушный, довольный.

– Здравствуйте, тетка! – поздоровался он с Приськой. – Сколько лет, сколько зим! Давно, давно вы в мою хату не заглядывали. Я уже Одарку бранил: может, говорю, рассердила чем?

– Бог с тобой, Карпо! Разве твоя Одарка такая, как другие? Только с нею и отведешь душу. А что не ходила к вам, так ты и сам хорошо знаешь почему. С таким горем и людям на глаза показаться неохота: сидела бы все дома, как истукан... Оно и лучше было бы – сразу окаменеть!

– Пусть Бог милует! Я вот все вас отстаивал, – сказал Карпо.

У Приськи от удивления глаза расширились.

– Что еще там такое? – спросила Одарка.

– Да пока ничего. Дурной этот Грыцько. Что он за вас взялся?

– Супруненко? – спросила Приська. – И сама не знаю. Ни в чем я перед ним не виновата. А он все пристаёт. Ненавидит меня. Цепляется, как репей к тулупу. Одно – точит, как червь дерево или ржавчина – железо.

– Еще со времени барщины привык людьми помыкать, так и сейчас не отучился, – сказала Одарка.

– Ну и человек! Бога не боится и людей не стыдится. Теперь к тому гнет, чтобы землю у вас отнять. Захожу в шинок, а он сидит с нашими богатеями: Горобцом, Вербой и Маленьким. Сидят, пьют. Грыцько, увидя меня, говорит: «Вот, Карпо, мы о твоей соседке речь ведем». «О какой соседке?» – спрашиваю. «Да о какой же, как не о Приське». – «А в чем дело?» – «Ты бы, – говорит, – не согласился взять на себя ее землю?» – «На что?» – говорю. «Как на что?» – И начал доказывать, что если землю вашу не забрать, то земля у вас будет, а подати другим платить придется. «А чем же она жить будет, – спрашиваю, – если у нее землю отберут?» – «Проживет, еще как! И сама здоровая. И дочка у ней как кобыла, хоть сейчас запрягай! С хлопцами небось ржать умеет, а к делу не приставлена». – «Никто, – говорю, – не ведаёт, как кто обедает! А я хорошо знаю, что как не стало Филиппа, то Приське не сладко жить придется. А если у нее еще землю отобрать, то ей только останется по миру пойти...» Как вскочит тут Грыцько, как заорет: «Так и ты с ней заодно? Ну, ладно! Мы решили эту землю тебе отдать, а не хочешь – я и сам ее возьму. Платить буду, но хоть не даром». – «А это, – говорю, – как мир скажет». – «Мир? Ты знаешь, что твой мир у нас в руках? Вот здесь, в кулаке, у меня сидит! Захотим – дадим жить, захотим – задавим. Что твой мир? Да вот Панасу, – он указал на Горобца, – надо в ноги кланяться и благодарить, что подушную за все село до копеечки заплатил. Пять сотен сразу выложил. А когда вы, чертовы лодыри, отдадите? Свои деньги сразу выкладывай, а с вас по копейке собирай... Уж коли на то пошло, то мы твой мир в холодную запрем, пусть там полззает зубами!..» Как напустился на меня – так куда тебе!.. Будь ты, думаю, неладен!.. Взял шапку – и прочь оттуда, да прямо домой и пошел.

Приська слушала, все ниже склоняя голову. Как это отобрать у нее землю? Кто ж осмелится? Да и как это можно? А она с чем останется? С голоду ей пропадать?

Безрадостные мысли щипали сердце, черной тучей омрачили душу. Она сидела неподвижно за столом, держала в руке пирог, но даже маленького кусочка не могла проглотить, а слова не шли с языка.

– Не печалься, тетка! – утешает ее Карпо. – Пусть они только сунутся. Я первый крик подниму. Не их, богатеев, мир послушает. Им хорошо – денег нагребастали с нашего брата, богатеют; а мы знаем, как прожить без гроша за душой... Не послушает их мир. Никогда! Как это они думают с пьяных глаз с миром справиться? Как можно так с людьми обходиться? Еще поглядим, чья возьмет! Их – трое, а нас сотня. Пусть не задирают нос, коли хотят в миру жить... Не печальтесь!

Не утешают Приську эти речи. Перед глазами грозное лицо Грыцька. Он – всесильный человек. Как захочет, так и повернет дело; если уж задумал кого доконать, так добьется своего.

Смертельно бледная и мрачная встала Приська из-за стола, попрощалась и пошла домой.

Еще более тяжелые и черные мысли навалились на нее дома, гнетут и без того наболевшее сердце. Христия еще не вернулась. В плошке, стоящей на шестке, еле мигает фитилек в мутном масле, легкие тени снуют по серым сырým стенам, по закопченному потолку. Склоняется на грудь поседевшая голова Приськи, и встает перед глазами ее горькая вдовья доля: убожество, нужда, людская несправедливость... Не в отчаянных воплях, не в жгучих слезах выливается ее лютая тоска; она безмолвно пронизывает все существо несчастной, покрывает зеленоватой желтизной ее дряблые щеки, полынной горечью поит душу и сердце. «Вот тебе и праздник! В

этот день, говорят, Христос родился... новая жизнь началась... а для меня – новое горюшко», – думала Приська.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Где же замешкалась Христя? Почему она не приходит утешить старую мать, делить с ней тоскливое одиночество?

Христя рада, что вырвалась из дому. Бегают с девочками по селу от двора ко двору, от хаты к хате. Холод рождественской ночи не останавливает молодежь, только заставляет еще проворней бежать. Скрипят сапоги на примерзшем снегу; молодая кровь, разгораясь, ударяет в лицо, греет; звонкий говор оживляет опустевшие улицы; со всех концов доносятся колядки. Развеселилась Христя, глаза сверкают, как звезды на холодном небе. Горе, затуманившее их, тяжелым камнем давившее на сердце, скатилось в ту минуту, когда Христя покинула свой двор.

– Уж нагуляюсь сегодня вволю! – сказала она Горпыне. – Долго я сдерживалась, да наконец вырвалась... А нехорошие вы, девочки! Хотя бы одна пришла поведать, рассказать, что делается в селе, что слышно нового, – щебетала Христя, спеша с подругой на сборище.

Хозяйка хаты, где собирались на посиделки, старая Вовчиха, радостно встретила Христю.

– Здравствуй, дочка! Давно ты у нас не была! И Филипповки прошли, а ты все не приходила. Стыдно, девки... Там у вас несчастье случилось... Но кого оно минует? Никто не знает, что принесет завтрашний день: сегодня жив-здоров, а назавтра, гляди, уж и не стало тебя. Все под Богом ходим. Его святая воля!.. Дай-ка, я хоть погляжу на тебя. Иди ближе к свету.

И старая курносая, как сова, Вовчиха начала вертеть Христю на все стороны, заглядывала ей в лицо, в глаза.

– Похудела, девка, подурнела... От горя? Ничего, молодая – пройдет... А тут у меня отбоя нет от хлопцев: все пристают, почему да отчего, тетка, Христя к тебе не приходит? А я почем знаю? Идите, говорю, доведайтесь. И сегодня уже забегал один – будет ли Христя?

– Я знаю, кто это был, – сказала Горпына.

– Нет, не знаешь.

– Так скажи кто? – спросила Христя.

– Ага, хочется узнать? Не скажу, за то, что не приходила.

– Как же мне ходить? – оправдывалась Христя. – И грех, и мать не пускает.

– Невелик грех... А мать поймет: разве она не была молодой?

Запыхавшись, в хату вбежали несколько девчат. Разговор прервался.

– Гляди! Они уже тут, а мы сдуру за ними бегали. Прибегаем к Горпыне, говорят – пошла к Христе, а у нее и хата на запоре. Поцеловала Химка засов, да и назад вернулась.

– Врешь! Сама целовала, а на других кивает, – отрезала Химка.

– Да то Маруся целовала, – вставила третья – еще подросток, указывая на свою старшую сестру.

Маруся только оттопырила губы. Девичья болтовня на мгновение умолкла.

– Еще много наших нет? – спросила Горпына, оглядывая собравшихся. – Нет Ониськи да Ивги. Знаете что? Пока они придут, поколядуем здесь!

– Давайте! Давайте! – подхватили другие. Горпына подбежала к хозяйке.

– Благословите колядовать! – крикнула она.

– Колядуйте! – сказала Вовчиха.

Девчата стали в круг, откашливались. Горпына начала...

Зычный ее голос разнесся по хате, как звон колокола. Будто монахиня сзывала на молитву своих подруг. Все притихли, слушая этот призыв.

И сразу подхватили:

Славен еси!

Ой, славен еси,

Наш милый Боже,
На небеси!

Снова призыв, и снова повторяют «Славен...». Колядка была длинной-предлинной. Наконец пришли и опоздавшие: Ониська мышастая и Ивга-толстуха.

– Насилу вырвались! – оправдывалась Ивга. – Забегаем к одной – пошла, говорят, туда; ко второй – пошла в другой конец. Как пошли искать, насилу разыскали. А тут идем к вам – встречают хлопцы. «Куда, девчата, чешете?» Мы от них, а они за нами... Еле убежали!

– А Тимофея так и не видела? – усмехаясь, спросила Горпына.

Широкое черное лицо Ивги еще сильнее почернело; глаза загорелись.

– Пусть он к тебе на шею вешается! – сердито ответила Ивга.

– Тю-тю, дурная! Я шучу, а она принимает всерьез, – говорит Горпына.

– Гляди, поссорятся... А грех! – вмешалась Вовчиха. – Свои, а поладить не могут... вишь ты! – И старуха покачала седой головой.

– Чего же она мне в глаза тычет Тимофеем? – не унимается Ивга.

– Ивга! Хватит! – прикрикнули на нее девчата.

– Хватит вам спорить, пора собираться! – напомнили другие.

– Пора, пора... Прощайте, мама.

– С Богом, дети, счастливо! А колядки пропивать ко мне.

– К вам! К вам! – И гурьбой повалили из хаты.

Ночь ясная, морозная. Лунный серп высоко плывет в чистом небе, сверкает; вокруг него столпились звезды, как рой около матки, как маленькие пряники вокруг доброго каравая хлеба, – так они блестят и маячат на небе; а он так радостно светит на весь мир, выстилает светлой пеленой заснеженную землю, сверкает в снежинках сизыми, зелеными, красными и золотистыми огнями, словно кто-то раскинул по земле огромное монисто из самоцветов. В прозрачном воздухе морозно, безветренно, но от холода захватывает дыхание. Отовсюду доносятся скрип, треск, шум... Там скрипят десятки ног, перебегаая через улицу; около хаты слышится «благословите колядовать!», а там, с дальнего конца, доносится пение коляды... Веселый гомон поднимается над селом, будит застывший воздух, кривые улицы, уснувших собак во дворах... Живет, гуляет Марьяновка! Свет горит в каждой хате; у всех гости, а не гости, так пир в домашнем кругу.

Девчата выбежали со двора Вовчихи, разделились на несколько групп. Горпына и Христя идут рядом.

– На кого это мать намекала? – спросила Христя.

– На кого? Известно, на Федора, – ответила Горпына и побежала вперед.

Христя немного отстала. «Неужели Федор так привязался ко мне? – думает она. – Спрашивал, буду ли я? Подожди, встречу я тебя где-нибудь, так уж добьюсь правды, да и за нос повою!.. Если отец твой говорит, что я свела тебя с ума, так пусть уж не на ветер слова бросает».

Христе так хорошо, легко на сердце, радостно... Есть такой, что и по ней тоскует, любит ее. Она не последует примеру чернявой Ивги, да та еще сердится, когда ее дразнят Тимофеем. Нет, она не станет за ним бегать; а сама приберет его к рукам. Христя, хитро улыбаясь, придумывала, как ей лучше поддеть Федора при встрече. Ею овладело то девичье лукавство, которого она уже давно не испытывала.

– Пойдем, девчата, к Супруненко колядовать или минуем их? – спросила она, догнав подруг.

– Пойдем, зачем миновать? Этот конец обойдем, а потом на другой.

– Вы идите, а я не пойду, – сказала Христя.

– Почему?

- Боишься, чтобы Грыцько палкой не огрел? – пропищала Ивга.
 - А ты иди, иди. Как бы сама палки не отвела!
 - А мне за что?
 - За то же, что и мне.
 - Ты же, говорят, его Федора околдовала.
 - Мало ли что говорят. И о тебе разное плетут.
 - А про меня что?
 - Сплетен не оберешься, – уклончиво сказала Христя, чтобы не заводить ссору.
- А тут и хата Супруненко показалась.

Девчата подошли к воротам.

– Ну, идем! – крикнула Горпына.

– А если и вправду палкой стукнет, да еще собаку науськает? От него всего можно ждать.

Да и спать уже, видно, легли, темно в хате, – сказала какая-то девушка.

– Ты что, слепая? – крикнула Горпына. – Вот же окошко светится.

Девчата остановились у плетня.

– Светится, в самом деле светится!

– Заходите! – скомандовала Горпына и побежала во двор.

Рябая здоровенная собака на привязи около сарая громко залаяла.

– Вот расходилась! Хозяин не лучше тебя, да не лает, – сказала Маруся, побежав следом за Горпыной.

Другие, громко смеясь, тоже пошли во двор. Передние уже были под окном, тогда как задние топтались около калитки, выламывая хворостину из плетня.

– Благословите колядовать! – крикнула Горпына, заглядывая в окно. Стекла замерзли, и, кроме желтого пятна света, ничего не было видно.

– Благословите колядовать! – еще раз крикнула Горпына, не дождавшись ответа.

– Кто там? – донеслось из хаты.

– Колядники. Благословите колядовать.

– Вот я вам поколядую! Чертовы дети! Вместо того, чтобы спать, они ходят под чужими окнами, собак дразнят.

Несколько девчат засмеялось, другие пустились наутек; осталась Горпына и с нею еще три подружки.

– Да тише вы! – крикнула Горпына, прислушиваясь к тому, что происходит за окнами.

– Вот я сейчас! Подождите немножко! – послышался голос Грыцька.

– О-о, видите – «подождите!» Он таки впустит нас, – подбадривала Горпына девчат, которые уже собирались убежать.

Дверь скрипнула, из сеней донесся какой-то шорох. Собака на привязи чуть не разрывается! То бросится в одну сторону, то прыгнет в другую, даже веревка трещит.

Наконец дверь из сеней приотворилась, и наружу высунулась кочерга. Девчата, увидя кочергу, – только дай Бог ноги! – мигом выскочили со двора, а кто потрусоватей – побежали вниз по улице. Одна Христя стояла на дороге и заливисто смеялась.

– Ну что, досталось?

– Я вас! Я вас, бесово отродье! – орал Грыцько. – Бог праздник дал, весь день гуляем, а теперь отдохнуть негде – ходят, глотки дерут и добрым людям не дают покоя. Рябко! Куси их!

– Куси, Рябко, лысого! – откликнулись девчата.

– А что заработали? – кричала одна.

– Всего набрали – аж сума продралась! – добавляет другая.

– Заработали – насили ноги унесли! – вставляет третья.

– У такого богача заработаешь! – сердито бросает Горпына.

А чернявая Ивга передразнивает Горпыну: «Благословите колядовать!..» И ее смех разносится по улице.

В это время Грыцько спустил Рябка с цепи. Лютая собака с злобным воем, как ветер, помчалась вдоль огорода, прыгая на тын.

– Тю! Тю! – выкрикивали девчата, быстро убегая.

– Благословите колядовать! – повторяет Ивга.

– Убирайтесь к бесу! Мне и Рябко наколядует, – передразнивая Грыцьку, грубым голосом крикнула Христя.

Безудержный хохот девчат бурей промчался по селу.

– Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

Уже далеко отбежали от двора Супруненко, уж и на другую улицу свернули, а хохот все не умолкал. Долго он еще оглашал морозный воздух и вызывал сердитый лай дворовых собак.

От Супруненко направились к богатому казаку Очкуру. Старая Очкуриха с почетом приняла дорогих гостей, угостила на славу, да еще и двугривенный дала. Повеселевшие вышли девчата из очкуровского двора и направились к попу. Там пришлось раз шесть колядовать: батюшке, матушке, их детям. Хотя батюшка денег им не дал, зато матушка хорошо накормила и напоила, а как пошли – у некоторых зашумело в голове. Ивга едва не уронила пирог, которым наделила их матушка; как наиболее здоровая, она была носильщицей. Но ее пришлось сменить, а лицо чернявой Ивги натерли снегом, чтобы она очухалась. Смех, хохот, шутки... и снова смех.

Веселая пора колядки. Недаром девчата их ждут не дождутся; и нагуляешься, и нахохочешься вволю.

На Христю точно нашло: не было того двора, из которого она, выходя, не передразнивала бы хозяев, не посмеивалась бы над подругами, не дразнила бы палкой собак.

– Это, Христя, не к добру. Что-то с тобой случится, – говорили девчата.

– Гляди, раков ночью не налови, больно много хохочешь, – зло ввернула Ивга.

– Это твоя привычка, – смеясь, ответила Христя.

– Или когда домой вернешься, мать побранит, – сказала маленькая Приська.

– Пусть бранит, зато повеселюсь! – ответила ей Христя.

С соседней улицы донеслись мужские голоса.

– Девчата! Хлопцы!.. – сказала одна.

– Хлопцы-поганцы! Ведьма родила того, что в шапке! – крикнула Христя.

– Тю! – откликнулись хлопцы.

– Тю-ю-ю! – снова крикнула Христя.

– Христя, не трогай их, может, это чужие! – сказала Горпына.

– А если чужие, так что?... – И еще громче крикнула: – Тю-ю-ю!

– Тпррр!.. – дружно раздалось невдалеке. Христя хотела уже передразнить, но слова застряли в горле.

Вскоре эти звуки повторились настойчивей. Большая ватага хлопцев в белых тулупах, серых шапках показалась на улице; они двигались лавой, поскрипывая сапогами по снегу. Девчата пустились врассыпную.

– Лови! Лови! – закричали хлопцы.

Поднялся крик и беготня. Хлопцы ловили девчат, здоровались, шутили... Это были все знакомые – свои: Тимофей, Иван, Грыцько, Онисько, Федор. Последний так и бросился к Христе.

– Ты куда разогнался, разиня? – вскрикнула та.

– За тобой. А ты куда убегаешь?

– Зачем мне убегать? Разве ты такой же, как твой отец? Пришли к нему колядовать, а он собак науськивает... Богатей, мироед!

– Христя! Не вспоминай о нем. Разве ты его не знаешь? – умоляюще сказал Федор.

– А что он обо мне говорит? И не грех такое плести?

– Ну и пусть говорит! За язык не удержишь!

– А совесть есть? Фу, постылый! – крикнула Христя и побежала к подругам. Федор, насупившись, пошел за ней.

Девчата мирно беседовали с хлопцами, шутили, смеялись.

– Так пойдем вместе колядовать? – спрашивали хлопцы.

– Не надо, не нужны вы нам. Вы кричите больно, – отнекивались девчата.

– А вы не кричите?

– Все же не так, как вы.

– Да ну! Смотрите, только не перекричите нас!

– Все равно, мы не хотим идти с вами.

– А мы хотим! Куда вы – туда и мы.

– Мы убежим.

– А мы догоним!

– Не удастся. Запутаетесь в полах тулупов и упадете.

– Посмотрим!

Немного еще поспорили, потом поладили. Споры эти были больше для виду; девчата были рады, что хлопцы с ними, – и веселей, и сподручней: пьяный ли пристанет, собака ли набросится – есть кому защитить.

Все вместе двинулись дальше, но отделились и парочки. Ивга словно прилипла к Тимофею, хотя тот больше говорил с другими девчатами. Федор мрачно шагал за Христей. Так и ходили по всему селу, не пропуская почти ни одного двора.

Уже повсюду затихли колядки, уже и в редкой хате виден свет, а наши колядники все еще бегали да выискивали, кому бы поколядовать.

– А вы были, девчата, у матери?

– Были.

– А мы не были.

– Хороши!

– Верно, она еще не спит. Пойдем!

– А пойдем, в самом деле, – сказала Горпына.

– Поздно будет. Вот уж луна заходит, – сказала Христя.

– Пусть заходит. И без нее дорогу видать. А если боишься, проводим домой, – поддерживали хлопцы.

Христя отказывалась, отступая.

– Если Христя не пойдет, то и мы не хотим, – уперлись девчата.

Два хлопца подбежали к Христе и, взяв ее за руки, повели вперед.

Месяц совсем спустился к горизонту и лежал над землею, точно каравай; из ярко-серебристого он стал мутно-багровым, на небе мигали потускневшие звезды, да земля светилась своим белоснежным покровом. Не слышно людских голосов, утомонились собаки, только на улицах, где проходили колядники, стоял еще собачий лай и нарушал тишину.

Пока подошли к хате Вовчихи, месяц совсем скрылся, и в хате было темно и тихо.

– Видите, я сказала – не надо идти, мать уже спит, – сказала Христя.

– Разве ее нельзя разбудить? – спросил Тимофей, направляясь во двор.

– Тимофей, Тимофей! – вскричали девчата. – Не буди! Вернись!

Тимофей остановился. Хлопцы настаивали – разбудить мать, девчата говорили – не надо.

– Пусть старуха хоть в праздник выпится. Мы ей и так не даем спать, – доказывали девчата.

Хлопцы согласились, но неохотно.

– Хватит, пора домой, – сказала Ивга. – Идешь, Тимофей?

Тимофей молчал.

– Разве Тимофею с тобой по дороге? – спросила Приська, дальняя родственница Тимофея.

– А тебе какое дело? – заметила Ивга.

– Я Христю провожу, – сказал Тимофей.

– Я не хочу с тобой. Иди с Ивгой, – сказала Христя.

– С Ивгой! – поддержали ее девочки.

– Да, да! – загомонили хлопцы. – Тимофей проводит Ивгу, Грыцько – Марусю, Онисько – Горпыну, Федор – Христю.

– Становись, братцы!

И хлопцы, подойдя к своим девушкам, разошлись в разные стороны, кто – влево, кто – вправо, кто – прямо. Горпына и Христя до церкви шли вместе, а оттуда Христе оставалось еще немалое расстояние до дому. Компания разбилась, пары разошлись в разные стороны.

Горпына и Христя идут рядом, а справа и слева – хлопцы. Онисько, небольшой, в своем длинном тулупе, чуть не волочившемся по земле, смешил девочек: то шутку ввернет, то коленце выкинет. Хохо и шутливый говор не умолкают. А Федор, понурившись, молча шагает рядом с Христей. Ему и приятно идти с ней, и вместе с тем боязно; он тоже хочет поговорить, посмешишь девочек, но пока собирается, гляди, Онисько уж рассмешил их. И Федору досадно, что он такой робкий и нерешительный. Недаром отец его считает глупым. «Глупый и есть», – думает он, молча плетясь.

Вот и церковь показалась; она чернеет в ночном сумраке. Вокруг тихо, безлюдно.

– Страшно мне, – вздрогнув, сказала Христя. – Ты вот уже дома, Горпына, а мне еще по пустырю сколько идти. Может, ты меня проводишь?

– Э, нет, сестричка, мне уже спать хочется. Да тебя же Федор и Онисько отведут домой.

– Чего там Онисько, я и один! – сказал Федор.

Девчата простились. За церковью Онисько остановился.

– Так что, Федор, один пойдешь?

– А что ж!

– Так прощайте! Доброй ночи!

– Прощайте. Спокойной ночи!

Христя и Федор остались вдвоем. Некоторое время шли молча. Федор придумывал, что бы такое сказать Христе. Она шла молча, время от времени вздрагивая.

– Ты прозябла, Христя? – спросил Федор.

– И сама не знаю, что со мной, словно лихорадка трясет.

– Если хочешь... – несмело начал Федор, – у меня кожух добрый...

– Так ты его снимешь? А сам в рубахе останешься?

– Я в свитке. А хочешь, полой прикрою – они у меня широкие.

И торопливо расстегнул тулуп.

Христя усмехнулась. Федор увидел, как у нее блеснули глаза. Его сердце екнуло. Он и не помнит, как Христя прикрылась полой и прижалась к нему. Ему так хорошо, тепло, радостно. Оба шагают молча.

– Что, если бы твой отец нас сейчас увидел? – смеясь, спросила Христя.

– Христя! – и Федор притянул ее к себе.

– Не души меня, – ласково сказала Христя.

Федор вздрогнул.

– Пока солнце светит, – сказал он, – пока земля стоит... пока не умру, не забуду я этого, Христя.

Христя звонко расхохоталась.

– Почему же? – спросила она.

У Федора дух захватило, опалило жаром.

– Ты смеешься, Христя... Тебе все равно, – снова заговорил он, – а я?... Отец меня ругает, глупым называет. Я сам чувствую, что сдурел. А тебе все равно, ты смеешься... Голубка моя! – тихо прошептал Федор и крепко прижал Христю к груди.

Она чувствовала, как отчаянно билось его сердце, как жгло ей щеку его горячее дыхание.

– Не балуй, Федор, – строго сказала она.

– Без тебя мне свет не мил и все ни к чему! – сказал он горячо. – Я не знаю, почему ты моему отцу не нравишься. Но кто ему по душе? Все или дурные, или враги... И родятся же такие на свете!

Христя тяжело вздохнула... Видно, Федор в самом деле любит ее, искренне любит. Грешно было бы сказать, что он непутевый. Кроме того, он красивый и добрый, думала Христя. В эту минуту откликнулось и сердце Христи. Горячие и страстные слова Федора дошли до нее. Молча они шли еще некоторое время. Она чувствовала, как рука Федора все сильнее обвивается вокруг ее стана. И не противилась. Ее плечо прикасалось к его плечу, она чувствовала биение его сердца.

– Так бы всегда быть с тобой, – шептал он. – И умереть так...

Они остановились. Христя молчала.

– Вот уж и двор твой! – грустно произнес Федор. – Господи, как быстро!

Вздыхнув, она откинула полу тулупа. Федор увидел ее побледневшее опечаленное лицо.

– Спасибо тебе, Федор, – тихо сказала она. – Прощай! – И пошла к калитке.

– Христя! – окликнул ее Федор.

Она оглянулась. Федор бросился к ней:

– Скажи хоть одно слово... Люба моя, милая моя!

Он обнял ее и хотел поцеловать. Христя стремглав метнулась прочь и в одно мгновение очутилась за калиткой. Она сама не знала, отчего ей стало смешно.

Раздался тихий смех.

– Ты смеешься, Христя? Смеешься? – спрашивал Федор, весь дрожа.

– Иди уж, – сказала Христя.

– Господь с тобой, – промолвил Федор и, словно пьяный, побрел обратно по безлюдному пустырю.

Жалость так переполнила сердце Христи, что даже слезы выступили на ее глазах. Она уже хотела крикнуть Федору, чтобы он вернулся, но удержалась. Опершись на калитку, она глядела, как он удаляется нетвердой поступью, все больше скрываясь в сумраке ночи. Его белый тулуп то блеснет, то растает в темноте. Вот его уже и не видно, только еле доносится скрип удаляющихся шагов по снегу.

Потом и шаги затихли.

Христя еще постояла, огляделась кругом, посмотрела в небо на далекие звезды... Тихо и ясно горят они. Она глубоко вздохнула и, съезжившись, вошла в сени.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Грустно проходили праздничные дни, бесконечно тянулись длинные рождественские ночи, принося и унося безрадостные думы. Одна только мысль не выходила из затуманенной Приськиной головы, шипом терзала сердце. Что, если и в самом деле отнимут у нее землю? Она и представить себе не может, что с ней будет тогда. С этой землей связаны все ее надежды, все помыслы, вся жизнь ее; без земли – голодная смерть. А Грыцько такой: уж если он что задумал, то сделает. Карпо говорит: не печальтесь, за нас мир. Да что этот мир! Сотня-другая бедноты? Что они сделают, если богатеи будут настаивать? Им что? Берите, скажут, землю, только не ждите от нас никакой помощи. До сих пор мы и тем, и другим помогали обществу, а с этого времени – моя хата с краю, ничего не знаю!.. Каждый пусть управляется, как знает. И пойдет у людей разлад, вражда. Стоит ли из-за нее, какой-то безвестной Приськи, затевать такую канитель? И общество скажет, – что нам до этой Приськи, во что нам станет помощь ей, если мы будем так за нее заступаться? Немало нас хиреет и так... Господи! Как же без земли быть? Хорошо панам: у них земли видимо-невидимо, а у нас маленький клочок, и сколько глаз на него зарится! Сколько рук тянется за ним! Каждому хочется захватить его, ибо в земле хлебоборская сила!

Кружилась голова у Приськи от этих мыслей, и все они сводились к одной: что будет, если у нее отберут землю? Не зная, как разрешить эту мучительную загадку, она роптала на людей, роптала на Карпа: зачем он рассказал ей об этом? Еще, может, и не отнимут? Да уж лучше бы сразу отобрали: она бы тогда знала, что у нее больше нет земли... Уж тогда бы и придумала, что ей делать, как быть. А теперь – только одна мука, неожиданное горе... «Ну и жизнь! Лучше в могилу лечь, чем так жить!» – говорила она не раз, ожидая со дня на день сельского схода и поглядывая в окно, не идут ли ее звать.

Прошла неделя. Наступил новый год. Что он принесет ей? Сердце ее тревожно билось.

На третий день с утра забежал Карпо и сказал ей, что после водосвятия будет сход.

– Может, и о вашем деле разговор будет. Выходите после обеда, – добавил он.

Идти или не идти? – думала Приська. Если не будут о ней говорить – скажут, зачем пришла. А не пойти – могут решить без нее. Если она там будет – все же хоть слово за себя замолвит.

Не находя себе места от тревоги, металась Приська по хате, не зная, как ей поступить. Она припоминала все сны, которые видела после того, как услышала это проклятое известие. К добру они или к беде?... Да и сны ее были как жизнь – страшные и безотрадные: все покойники снились, новые беды мерещились... Что они предвещают? Не разгадает она, не почувствует наболевшим сердцем.

Наступил день схода. Христя и обед раньше сварила, чтобы мать не запоздала. Глядя на нее, Христя и сама взгрустнула, но не знала, чем ее утешить. Приська ничего не ела. До еды ли, когда, может, с завтрашнего дня останешься без куска хлеба? Проглотила она одну ложку каши, да и та застряла... С тем и встала из-за стола.

Шумно было на площади перед волостью, где собрались крестьяне. Старшина, заседатели, писарь, староста стояли на крыльце и молча глядели на море шапок, колыхавшееся вокруг. Люди сходились кучками, шумно спорили и снова расходились. Одни кричали: «Не хотим так! Отчего такая несправедливость на свете?» Другие размахивали руками и громко кричали: «Не будет по-вашему!» Каждый выкрикивал свое, и на площади стоял такой шум, что трудно было разобрать, кто чего хочет, кто чью сторону держит. Увидя группу женщин, стоявших в стороне, Приська направилась к ним. Это были Хвеська Лазорчищина, Крылына Чопивна, Горпына Ткалева, Марья Бубырка – все свои, старые знакомые.

Приська поздоровалась с ними.

– Здорово! И ты пришла посмотреть? – спросила Марья Бубырка, дородная румяная молодница.

– Нашла диво, – сказала Приська. – Не мне, старухе, зря ходить на диво глядеть – дело привело.

– Какое же у тебя дело?

Приська рассказала. Молодицы переглянулись.

– А мы вот поглядеть пришли, – в шутливом тоне начала Марья. – Ткалиха – как ее мужа будут старшиной выбирать; Хвеська – с жалобой на своего, – пускай его на целую неделю в холодную посадят, чтобы знал, как жене бока трепать; Чопивна – жаловаться на хлопцев за то, что ее пятилетнюю дочку до сих пор никто не сватает.

Женщины дружно рассмеялись. Приська только подумала: «Молодые, здоровые, живут в довольстве... Отчего им не смеяться?» И, тяжело вздохнув, отошла от них.

Она заметила Здора, который что-то горячо говорил собравшейся вокруг него большой группе людей, видела, как Грыцько Супруненко, сдвинув шапку на затылок, шмыгает в толпе; встретившись с Перепелицей, крикнул: «Гляди же!», потом с Васютой: «А вы поддержите!», затем с Кибцем, с Маленьким... Он носился, как муха, и каждому встречному бросал короткую фразу. Люди молчали, кивали в ответ головами, – ладно, мол! – и шли дальше.

«Это, видно, обо мне речь идет; знать, про мою землю Грыцько замышляет. Господи! Ну и дурной человек этот Грыцько. Что ему моя земля? У самого столько – еще людям сдает в аренду, так нет – и на мою зарится. И откуда такое лихо берется, и уродится же такой лютый!» – Приська готова зарыдать.

– Ну что, наговорились? – крикнул с крыльца старшина. – Кончайте разговоры; еще дела много впереди, а уже поздно.

Толпившиеся ближе к крыльцу что-то хором прокричали, Приська не разобрала слов.

– Так как же, за Омельком оставить? – спросил старшина.

– За Омельком! За Омельком!

– Пусть только за это ведро водки поставит! – послышались выкрики.

– С какой стати? – возразил Омелько Тхир, державший конную станцию при волости.

– А как же? Разве ты мало денег с людей дерешь?

– А разгон какой? Это тебе не Свиная волость, куда становой раза три в год заглянет; а у нас, куда ни едет, все через Марьяновку. Вот и готовь ему тройку лошадей. В прошлом году пару загнали – вот тебе и заработок! – жаловался Омелько.

Приська только сейчас поняла, что речь идет о конной станции. Чтобы лучше расслышать, она приблизилась к крыльцу волостного правления.

– Так все согласны? За Омельком? – в третий раз спрашивает старшина.

– Все! Все... За ним!

– Ну, а теперь поговорим о наделах. Кое-кто из хозяев помер, у других большие недоимки... Что станешь делать, как общество рассудит?

– О ком же? Про кого речь идет?

– А вот... Прочитайте, Денис Петрович, – обратился старшина к писарю. Тот начал читать, а старшина вслед за ним громко выкрикивал фамилии.

– Кобыла Назар! Иван Швец! Данило Вернигора! Василь Воля! Филипп Притыка...

Приська вся затряслась, услышав имя мужа. Дрожь пробежала по всему телу, и она, сама не зная отчего и кому, низко поклонилась.

Люди, услышав выкрики старшины, начали подходить к крыльцу. Кто-то больно толкнул Приську.

– И чего тут эта баба затесалась? – спросил рыжеусый молодой человек, торопливо пробираясь вперед.

Приська отошла в сторону и настороженно прислушалась. Толпа шумела, клекотала, слышались шутки, смех. «Чего это они хохочут? – думала Приська. – Думают ли они о том, что сейчас решается судьба многих людей? Что у них жизнь отнимают? Должно быть, нет. Не смеялись бы так, если бы подумали об этом».

Потом Приська слышала возгласы старшины и крики людей: «Отобрать! Не надо! Дать ему на год отсрочку, а не справится – тогда и отобрать». Или: «Дети у него малые, принять его недоимку на счет общества».

Но вот старшина крикнул:

– Ну, а за Филиппа Притыку?

– За Филиппа? – спросило несколько голосов.

Приська словно приросла к земле.

– Отобрать! – первым крикнул Грыцько Супруненко; за ним другой, третий.

У Приськи потемнело в глазах.

– Подожди отбирать! – слышит Приська голос Карпа. – Это дело надо разобрать.

Поднялся шум, крик. Слов не разобрать, только сквозь гул изредка до слуха Приськи долетают отдельные возгласы: «А дочка? А сама?» И вдруг слышит: «Врешь! Богатеи только о себе думают, а другие пусть с голоду пухнут и подышают!»

Еще пуще зашумели, такой гам поднялся, что уж ничего нельзя было разобрать. Люди снова разбрелись. И каждая группа шумела, словно старалась перекричать соседей. Карпо метался от одних к другим и неустанно кричал:

– Поддержите, братцы! Что это такое? Из-за этих чертовых мироедов скоро бедному человеку и дыхнуть нельзя будет. Как так можно? Где такое видано? Вы бы поглядели на нее... да вот и она! – И Карпо, схватив Приську за рукав, потащил ее к Супруненко. – Вот она какая гладкая! Вот какая здоровая! – напустился Карпо на Грыцько. – Гляди! Глядите, люди добрые: вот она! Сможет она сама работать?

– У нее дочка молодая! – в свою очередь кричит Грыцько. – Пусть дочку внаймы отдаст. Другие нанимаются, а она не может.

– У ней одна дочка. Если она уйдет, некому будет и в хате хозяйничать! – настаивает Карпо.

– Да тише! Такое завели – разобрать ничего нельзя! – сердито крикнул старшина.

Толпа постепенно утомилась.

– Ну, как же с землей: за вдовой останется?

– За ней! За ней! – закричало большинство.

Грыцько, багровый, как рак, махнул рукой и отошел в сторону. Но сразу же вернулся.

– Ну, хорошо. Земля, говорите, за нею останется. А подати кто будет платить? А выкупные кто отдаст?

– Подати, известно, на счет общества, а выкупные сама платить будет, – сказал Карпо.

– Вишь, лихоманка его матери! – заорал Грыцько. – И землю отдай, да еще подати за нее плати.

– Не грозись, лихоманка не разбирает, на кого напасть. Как бы тебя не потрянула, – говорит Карпо.

– Да где же это видано? Как можно? И землю отдай, и подати плати.

– Правду говорит Грыцько, – сказал кто-то. – Если землю берет, пускай и подати платит.

– Люди добрые! – крикнул Карпо. – Постойте! Подождите!.. Как же это так? Притыка платил только за одну душу: он один значился в ревизском списке. Кабы у него был сын – другое дело, а то он один. Теперь он умер – кто же, как не общество, должно за него платить?

– Врешь! Не умер, а околел! – крикнул Грыцько.

– Не умер Данила, болячка его задушила! – сказал кто-то из толпы.

Послышался хохот. Грыцько не унимался:

– Все на общество и на общество. А это же мы и есть. Кому придется платить, как не нам? – лез он из кожи вон, стараясь донять Приську не мытьем, так катаньем.

Толпа начала склоняться в сторону Грыцько.

– Да погодите! – снова кричит Карпо. – Она же по закону не должна платить податей. Где это видано, чтобы вдова платила подати за умершего мужа? Откуда ей взять?

– А земля? А земля? – орет Грыцько.

– Что ж земля? За землю выкупные надо вносить. Ну, она и будет их платить, а подати с какой стати?

– Правильно! – заревела толпа. – Подати – на общество, а выкупные – кто землей владеет.

– Писать? – спрашивает старшина.

– Пишите! – шумит толпа.

Грыцько в сердцах плюнул, поскреб затылок и отошел прочь. Лицо у него было злое, багровое; огонь в колючих глазах погас, они глядели мрачно, словно говорили: ну, теперь все прахом пойдет, если голодранцы начнут верховодить в общественных делах. Побежденный и раздосадованный, покинул он сход. Ни одна его надежда не сбылась, ни одна мысль не веселила. Мрачный как туча возвращался он домой.

Зато Карпо был несказанно рад. Он весело говорил то одному, то другому:

– А что, взял? Вертел, вертел хвостом, чертов Загнибида, да и довертелся! Так им и надо, аспидам-мироедам! Спасибо вам, люди добрые, что поддержали.

– Теперь с тебя магарыч, Карпо! – шутя сказал ему высокий усач.

– С тебя! С тебя! – слышались выкрики.

– Вот это дело! Один кислицы ел, а сосед оскомину набил. Кто землей будет владеть, а другому за него магарыч ставить, – вставил Гудзенко, всем известный трезвенник.

– Что? – крикнул Карпо. – Можно за это и магарыч поставить. Двугривенный есть в кармане... пойдем!

– Ну и добряк же этот Карпо! Последним поделится... Идем, идем, – сказал усач, очевидно, склонный к зеленому змию.

Человек пять отделились от толпы и направились в шинок, стоявший тут же на площади.

Карпо снова повстречал Приську, которая от волнения растерялась и не знала, куда ей идти.

– Вы еще и сейчас тут топчетесь? – сказал он. – Идите, тетка, домой. Ваше дело пошло на лад. Благодаря обществу земля осталась за вами. Идите домой.

– Спасибо вам, люди добрые! – тихо промолвила Приська, низко поклонившись людям. – А тебе, Карпо, наибольшее спасибо.

– Не за что. Бога благодарите. Идите домой и, если увидите Одарку, скажите ей, что я, может, задержусь.

Приська, еще раз поблагодарив людей, побрела домой.

Вечерело. Солнце, весь день закрытое тучами, к вечеру выбилось из неволи и, опускаясь к горизонту, обливало все село багряным светом. Казалось, все вокруг пламенело. По небу плыли разорванные тучи, черные и темно-зеленые, предвечерний воздух был прозрачен и свеж. Мороз крепчал. Из села доносились женские голоса, а на площади все еще стоял неугомонный гул. Было грустно Приське в этот зимний вечер. Она не замечала окружающей красоты; ее склоненную голову осаждали думы. Они не были горькими на этот раз; если бы Приська не разучилась радоваться, они, может, и были бы радостными, но теперь только окрашены легкой грустью. Она думала о земле, из-за которой пережила столько тревог, которую хотели отнять у нее злые люди... И вот земля эта – снова ее. Боже, вознагради Карпа! Это он отстоял ее. Свет, видно, не без добрых людей... не без добрых людей, – шептала она. На глазах выступили слезы.

Уже около самого двора она остановилась перевести дух. Солнце садилось; его огненный, багровый глаз ярко искрился. «И оно радуется доброму делу», – подумала Приська.

– Ох, и уморилась я, – сказала она, войдя в хату, и тяжело опустилась на лавку. Она с трудом дышала от усталости.

Христя тревожно взглянула на мать; по лицу старалась угадать, хорошую ли она весть принесла, или дурную. Сердце у нее болело от мучительных сомнений.

– Дайте, я хоть помогу вам тулуп снять, – сказала Христя, заметив, что мать собирается раздеться.

– Помоги, доченька... Ох, и уморилась я... Нет сил! Кто же с землей управится, если к лету не поправлюсь.

– А земля за нами осталась? – робко спросила Христя.

– О-ох! Благодаря хорошим людям – за нами, доченька, – сказала Приська, прислонившись к печи.

Христя перекрестилась.

– Слава Богу! Слава Богу! – шептала она.

– Как ни кричал Грыцько, как ни ярился, как ни угрожал обществу, а не вышло по его... Спасибо Карпу... Чуть не забыла. Сбегай, дочка, к Одарке, скажи ей: Карпо просил передать, чтобы она не ждала его – может, задержится. Вот голова дурная, пока шла – забыла. Ох, какой же он человек хороший, спасибо ему! – говорила Приська, не замечая, что дочери уже нет в хате. Христя быстро вернулась.

– Одарка спрашивала, где же Карпо? А я говорю – не знаю, – сказала Христя.

– На радости в шинок пошли. Спасибо им!

– Еще спрашивала Одарка про землю. А как узнала, аж запрыгала от радости.

– Господи! И за что это люди так добры к нам? – говорила Приська. – Учись у них, дочка... они лучше, чем родные. Пошли им, Господи, всего, чего они только хотят! И не приведи Боже, чтобы люди были такие, как этот Грыцько: кажется, съели бы друг друга. И уро-дится же такой злой и бездушный! Хоть бы сам нужду терпел, а то добра у него – на десятерых хватит. Так нет, всего ему мало, на сухую корку чужого хлеба позарился. Зато же и проучили его!.. Он – слово, а Карпо ему – десять... И общество не его послушалось, а Карпа. Как туча, домой ушел Грыцько, – рассказывала Приська, грея на печи свои посиневшие руки.

Слушая рассказ матери, Христя думала: вот и попадись такому в невестки – все кишки тебе вымотает... будет грызть, пока со свету не сживет. А ну его вместе с богатством! Чего ж этот Федор к ней ластится? Что ему нужно? Господь с ним! Он хоть и хороший хлопец, да что поделаешь с таким отцом?

Вдруг Христя услышала шорох в сенях. Она бросилась к двери и на пороге столкнулась с... Федором.

– Здравствуйте! – сказал он, входя в хату.

– Кто там? – спросила с печи Приська. – Зажги огонь, Христя, ничего не видно.

– Да это я... Федор.

«Федор! С чего бы это?» – подумала Приська.

– Зажги огонь! – повторила она.

– Сейчас.

Маленькая плошка тускло осветила хату и Федора, все еще топтавшегося у порога.

– Что же ты стоишь, Федор? – спросила Приська. – Садись! Что скажешь хорошего? Федор растерянно оглянулся.

– Да я к вам... – отрывисто и робко начал он. Голос его дрожал, как порванная струна: видно, ему трудно было говорить.

«Не сватать ли пришел?» – подумала Христя, глядя на оробевшего Федора. Тот, бледный и дрожащий, стоял у порога и мял шапку в руках. Это заметила и Приська. Наступило тягостное молчание.

– Батяка меня послал, – снова начал Федор. – Пришли домой сердитые. Напали на меня... хотели бить... Потом говорят, иди туда и скажи: я ей этого не забуду! – с трудом выговорил Федор, и слезы поползли по его щекам.

Дочь и мать переглянулись. Снова воцарилось молчание, все замерли. Резкий стук заставил их очнуться. Федора уже не было в хате.

Во сне это было или наяву? Приська и Христя в недоумении переглядывались, пожимали плечами, и вдруг Христя расхохоталась. Она сама не знала, отчего ей стало так смешно. Ее звонкий смех раскатился по хате.

– Что ты? – сердито спросила мать.

– Ну, не глупый он, не сумасшедший! – крикнула Христя и снова залилась смехом.

Это был какой-то странный смех: так смеются перед горем, предчувствуя его. У Приськи мороз пошел по коже от этого смеха, и она тревожно глядела на дочку. Ей стало так тяжело и горько, так тоскливо, словно и не было недавней радости. «Я ей этого не забуду!» – слышала она слова Федора... Сына прислал сказать, чтобы не забывали о нем... Боже! Что за придира Грыцько этот, что за злой человек!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Грыцько пришёл домой голодный и злой. Земля Притыки ему уже давно не давала покоя, как заноза в сердце, как бельмо в глазу... «Пусть она не мне достанется, только бы отобрать ее! Что тогда Приське в селе делать? Жить не на что будет... С голоду распухнет... Иди, голу-бушка, внаймы... на старости лет; и дочку свою, пышную панночку, уводи с собой; пусть у чужих людей загрубеют ее белые рученьки, а то изнежились. А то она только и знает, что хлопцев сводить с ума... Сама скорее сойдешь!.. Только бы вас выжить отсюда, а там мне все равно, хоть околевайте. А выгнать надо, иначе Федор совсем пропадет. Думал, когда поругаю, она спохватится... Какого черта! Ходит как полоумный. Всю ночь, говорят, шатался с колядниками. Если б не был дураком, поступил бы с ней так, чтоб мать знала, как отпускать дочку на всю ночь. Так дурень же, дурень! Ничего не поделаешь... надо выгнать... и выгоню!» – думал он чуть ли не всю ночь накануне схода. Припоминал, кого он просил, кого еще надо просить поддержать его, какие привести доводы. Он и не допускал мысли, что общество не согласится с ним. Слыханное ли дело, чтобы общество и подати на себя взяло, и земли не отобрать. Этого никогда не было и быть не может!

И вот теперь... на тебе! Он обвинял всех богатеев, что не постояли за него как следует, и общество, которое с ума спятило и такое выкинуло. А хуже всего, что эта ненавистная Приська со своим отродьем остается в селе!.. И теперь они начнут звонить повсюду: а что – съел? А что – взял?

– Кушать! – крикнул он, не снимая шапки и грозно водя глазами по хате.

Он искал повода, чтобы к чему-нибудь придраться, выругаться, сорвать на ком-нибудь зло. Но в хате не было ничего, чтобы не так стояло или лежало, как ему нравится. В сердцах он сорвал шапку, швырнул ее на стол и сел. Хивря, заметив, что Грыцько вернулся не в духе, торопливо вынула борщ из печи и поставила его перед ним на стол. Грыцько сторяча хлебнул и обжегся.

– Огонь подставила! – крикнул он, бросив ложку.

– А что было бы, если б холодного дала? – тихо огрызнулась Хивря.

– И без того мне допекают все, а тут еще и ты со своим борщом!

– Гляди, я виновата! – усмехнувшись, сказала Хивря.

Грыцько молчал, сопел и ждал, пока борщ хоть немного остынет.

– У нас где-то водка была, – сказал он немного погодя.

Хивря достала бутылку и поставила ее перед ним. Грыцько выпил чарку водки и снова принялся за борщ. Хивря глядела, как он жадно хлебал борщ.

– Чего тебя так разгневало? – спросила она, видя, что Грыцько по-прежнему мрачен. То, бывало, придет сердитым, но поест и отойдет, а сегодня – нисколько.

– Еще что-нибудь найдется поесть? – спросил он.

Хивря подала ему жареного поросенка. Грыцько, сопя, молча принялся за поросенка. Хивря больше не допытывалась. Грыцько молчал. Поев, он встал из-за стола, перекрестился и лег на нары, отвернувшись лицом к стене. Хивря мыла посуду, и только глухое позвякивание нарушало тишину в хате.

Из головы Грыцько никак не выходили мысли о сегодняшнем сходе, о постигшей его неудаче. Ему было тяжело, сердце болело, словно змея его ужалила. Своими мыслями он дома ни с кем не делился; у него была надежда, успешно закончив дело, смеяться над побежденными, а вышло наоборот... над ним посмеялись! Он мучится, а Приська, верно, рада... А когда узнают домашние, Федор... Он – его сын... его кровь... Неужели он будет радоваться вместе с Приськой? Нет, погоди!

Он скользнул взглядом по хате.

– Где Федор? – спросил он.

– Не знаю. Мы тебя долго ждали, но, не дождавшись, пообедали одни. А после обеда Федор сразу ушел.

– Не к своей ли чертовой теще? – крикнул Грыцько. – Никогда его нет дома. Все где-то шляется, бродяга!

– Так он ведь недавно ушел, – сказала Хивря.

– Недавно... А зачем шататься без дела? Вечер на дворе. Скотина, верно, не напоена.

– А может, он ее и погнал на водопой.

Грыцько снова лег. Хивря вышла из хаты, но вскоре вернулась.

– Федор скотину поит. Сейчас придет, – сказала она.

Немного спустя вошел и Федор.

– Вы меня звали, батя?

Грыцько поднялся, лицо его побледнело.

– Пойди сейчас же... – весь дрожа, начал он, – пойди к своей теще... знаешь? И передай ей от меня... скажи, что я ей этого не забуду. Пусть на лбу себе запишет! Слыхал?

Федор, возвращаясь с водопоя, слышал от хлопцев, что общество вопреки уговорам отца оставило землю за Приськой.

– Это насчет земли? – тихо спросил он.

Грыцько встрепнулся, точно от укола: в тихом вопросе сына он услышал укор и насмешку. Он весь начал дергаться.

– А тебе какое дело? – крикнул он так, что Хивря задрожала от испуга. – Тебе какое дело, спрашиваю? Сказано тебе идти – так иди... Еще допытывается. Тебя небось радует отцовская неудача? Радует, да?

Федор переминался с ноги на ногу.

– Думаешь сесть со своей любезной отцу на шею?... – И снова пошел Грыцько кричать на всю хату, перебирая по косточкам не только Приську и Христю, а и весь род их, всех защитников. Он бранил их, грозился, что всех со света сживет, со всеми сочтется. – Расстроили меня, так пусть на себя пеняют! А ты иди к ней и скажи, что я ей этого не забуду... И сейчас же домой возвращайся. Слыхал?

Грыцько отвернулся и снова лег.

Федор в нерешительности стоял у порога, мял шапку в руках. Сердце разрывалось на части, слезы душили его. Как ему пойти туда и сказать такое? Кабы там еще Христи не было. А то... давно ли они шли обнявшись? Христя тогда, правда, обидела его и теперь подумает, что он ей мстит за обиду... Он мстит? Христе?... – от этой мысли у него в глазах помутилось.

– Слыхал? – снова крикнул Грыцько. – Кому я говорю?

Федор вздрогнул и, качаясь, как пьяный, вышел из хаты.

Он вышел на улицу и остановился... «Идти или нет?» – подумал. Сердце его, как молот, стучало в груди, голова горела, и даже мороз не охладил ее, только еще сильнее спирало дыхание в груди.

– Идти или нет? – произнес он вслух и, махнув рукой, поплелся по улице. Потом свернул на другую. Вот и церковь чернеет. Подойдя к кладбищу, он снова остановился. Лучше повеситься на колокольне, чем идти туда! Разве вернуться?... – Господи! Лучше возьми меня к себе, чем такую муку терпеть, такое надругательство над моей душой! – прошептал он и, закрыв лицо руками, прислонился к забору. Слезы, падавшие на руки, замерзая, кололи пальцы. Он не мог их сдержать. Казалось, им конца не будет.

– Кто там? – окликнул его сторож, ударив в трещотку.

Федор, точно вор, бросился бежать прочь от кладбища куда глаза глядят.

Он остановился, вдруг увидев перед собой хату Приськи. Окна не светились. Он с облегчением вздохнул. «Может, их дома нет?» – подумал он и торопливо вошел во двор.

Он не помнил, что говорил там и как снова очутился на улице. Только у церкви он снова пришел в себя. Начал припоминать, что с ним произошло. Он смутно вспомнил, как вошел в хату... свет плошки... лицо Приськи – страшное, измученное... глаза Христи, сверкавшие как звезды... Потом... словно земля под ним зашаталась, свет в глазах закружился... он что-то сказал... Что он сказал?... Огонь жег его голову, сердце точно цепом молотило. Он слышал чей-то смех... И вот сейчас он снова очутился у церкви. Не снилось ли ему все это? Был ли он действительно в хате Приськи, видел Христю, сказал то, что велел отец?... Да, да... сказал. Он даже услышал, как произносит эти слова: «Я ей этого не забуду!»

Это воспоминание словно ножом пронзило сердце Федора.

– Что я натворил, каторжный? Что я наделал, проклятый? – крикнул он, схватившись за голову. Слезы ручьем потекли из его глаз. Прислонившись к забору, он начал горько рыдать. Теперь все пропало, все! Теперь ему лучше броситься в прорубь, чем показаться на глаза Христе... Ну, не глупец ли он? Побыл бы где-нибудь час-другой, потом вернулся и сказал отцу: не застал никого дома. Так нет же!.. «Пошел... понесла меня нелегкая, толкнула нечистая сила! И теперь сам растоптал то, что мне было дороже всего на свете... О, проклятый я, проклятый!» Он, схватив себя за голову, неутешно плакал.

В это время Грыцько, лежа на нарах, думал: «Хорошо, что я это придумал. Теперь дурень отучится бегать за этой потаскухой; а если пойдет к ним еще раз – сами прогонят. Хорошо!..» – И Грыцько злорадно усмехнулся.

Федор вернулся домой растрепанный, без шапки.

– Был? – спросил его отец.

Федор понес такое, что Хивря даже перекрестилась. Грыцько вскочил и грозно посмотрел на сына.

– Был, спрашиваю? – крикнул он.

Федор стоял молча, весь дрожа.

– Ты сошел с ума? – сказал Грыцько.

– Оставь его! – сказала Хивря. – Разве ты не видишь, что он на себя непохож?

Грыцько сокрушенно посмотрел на сына. Тот стоял бледный, трясущийся, с помутневшими глазами.

– А шапка твоя где?

– Там... там... – махнув рукой, глухо произнес Федор и побрел к печи. Хивря бросилась к нему.

– Федор, сынок! Что с тобой? Опомнись!

– Он пьян! – сердито рявкнул Грыцько. – Прочь, не трогай его! – сказал он Хивре. – Иди сюда!

– Да он не пьян. Чего ты пристал к нему? Смотри, хлопец сам не свой, а ты одно долбишь! – теперь уже крикнула Хивря.

– Что же с ним? Может, его опоили эти ведьмы? – тревожно сказал Грыцько. Он тупо глядел, как Хивря помогала сыну раздеться, как, постелив на печи, она помогла ему лечь. Федор, улегшись, стонал, метался; бредил, пел, так что Грыцько продирает мороз по коже. Хивря испуганно крестилась.

– Что с ним стало, Господи? – шептала она в ужасе.

– Что? Кровь, видно, напала. Надо завтра коновала позвать, пусть кровь пустит. Хмм... Куда же он шапку дел? – беспокойно говорил Грыцько. – А шапка еще новая, только вторую зиму носит.

Всю ночь Федор метался, кричал, бредил. Грыцько, сначала подумавший, что сын притворяется, наконец поверил. «Что же с ним? – думал Грыцько. – Неизвестно, ходил ли он к Приське. Если ходил, то, может, в самом деле напоили чем-нибудь, чертовы ведьмы; а если

не ходил, то, верно, кровь. Хлопец здоровый, разгорячившись, хлебнул где-нибудь холодной воды, ну и простудился, кровь напала».

На рассвете он пошел за коновалом. Тот ощупал, осмотрел больного.

– Кровь, кровь, – сказал он. Пустил кровь, потом выпил четвертинку водки, получил от хозяина двугривенный и пошел домой.

Федор на некоторое время затих, а в полдень начал такое плести, что и вообразить нельзя. Грыцько задумался: кровь ли это, а может, другое? Не обманул ли его коновал, взяв даром деньги?

Хивря уверяла, что это все от дурного глаза, и побежала за знахаркой.

Пришла и знахарка.

– Или с перепугу, или от сглаза, или напоили его чем-нибудь, – сказала она и начала готовиться заговорить перепуг.

Плавил воск. Долго нашептывала знахарка и над Федором, и над воском, и над водой. Растопили воск, воды налили. По той восковой лепешке, которая плавала на воде, знахарка угадывала, отчего приключилась беда.

– Вот поглядите, матушка! Видите – церковь выходит... а это человек с дрючком, тут дивчина какая-то... а это – собака. Нет, волк: видите, какие уши острые. Значит, испугался волка, – решила знахарка.

И Хивря поверила. К тому же на другой день церковный сторож принес в волость чью-то шапку, которую он нашел у ворот. Это была шапка Федора.

– Так, так... где ж его ночью носила нелегкая? Послал среди ночи хлопца. Пошел и наткнулся на волка, – жаловалась Хивря.

Грыцько ходил мрачный, как туча, немой, как скала. Ему хотелось узнать, был ли Федор у Приськи, что говорил и как его приняли.

На другое утро Приська пришла к Карпу рассказать ему о случившемся.

– Привязался ко мне Грыцько и не отвяжется... – жаловалась она. – Вчера сына прислал напомнить, чтобы я не забывала... И что я ему сделала? В чем провинилась перед ним? Я на его землю не зарилась, о своей хлопотала.

– Знаете, что я вам посоветую? – говорил Карпо. – Плюньте на его угрозы и на все... Общество вам присудило – значит, оно знает, что делает. А Грыцько чем вас страшит? Своими глазами ненасытными? Плюньте на него – и все!

Карпо пустил по селу слух о том, как Грыцько пытался застрашать Приську. Этот слух дошел и до Грыцька.

– Так, так! Они его извели! Они! – кричал Грыцько. – Ну, если сын умрет или с ним что-нибудь станется, я их под суд упеку, в тюрьму, в Сибирь! Я им покажу, как заманивать хлопца и опаивать зельем. Ведьмы!

Люди, не разобрав, в чем дело, подхватили этот слух и наплели, что Приська напоила Федора кошачьим мозгом. Кто-то даже видел, как они вдвоем с дочкой потрошили кота. Пошли разговоры по всему селу. Все обвиняют Приську: это она, мол, мстит Федору за дочку – Христя очень падкая на хлопцев. Молодой парень не вытерпел... И вот теперь за то, что Федор отказывается, Приська и мстит...

Один Карпо заступает за нее.

– В суд его, мироеда, брехуна! – советует ей Карпо. – За что он вас ославил на все село? В суд его тащите!

Приська послушалась и подала жалобу на Грыцько. Хотя на суде и выяснилось, что Грыцько плел эту чепуху, однако его не признали виновным. Ходили слухи, что Грыцько с судьей ужинали в шинке.

– Ну, что с тобой случилось оттого, что человек, может, в сердцах и сказал нехорошее слово? – спросил судья.

– В сердцах чего не скажешь! – поддержал другой.

– А что ославили, так это ничего? – настаивает Приська.

– Ну что ж, бабка, и про нас сплетничают. Поговорят – и перестанут.

Так и Приська вернулась ни с чем. А Грыцько кричал: «Ну что, взяла? Взяла? Еще судиться со мной вздумала. Погань!»

Люди не слышали того, что происходило в суде. Они знали только результат и по нему судили. «Уж лучше бы сидела и молчала, раз виновата, – говорили злые языки, – а то еще в суд. Больно разумной стала: чуть кто слово скажет – сразу на суд!»

Приська плакала, Грыцько смеялся. Только это был смех человека злого, оскорбленного. Он смеялся, а на душе у него кошки скребли: как она смела подавать на него в суд?

Он только тем и жил, что искал случая, как бы отомстить Приське, как бы так ее прижать, чтобы она уже не вырвалась из его рук.

Время шло. Приська жила на другом конце села и не знала, что Грыцько замышляет. Людские толки понемногу затихают: видно, всем надоело день-деньской об одном и том же судачить и рядить. А тем временем Федор уже выздоравливал: у него оказалась лихорадка.

Миновал мясоед и Масленица, наступил Великий пост. На четвертой неделе поста в городе ярмарка. Чуть не все село кинулось туда. Поехал и Грыцько, хотя у него дела не было, а пробыл дольше всех. Он вернулся во вторник на пятой неделе оживленный, веселый. Оставшись наедине с Хиврей, он вытащил из кошелька какую-то бумажку и, размахивая ею, весело сказал: «Вот это их доймай! Задели меня – так пусть знают!»

Хивря допытывалась, в чем дело, но Грыцько только махнул рукой и тотчас ушел в волостное правление.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Приближалась весна. Хотя ночью еще были заморозки, зато днем так ярко светило, так грело ясное солнышко! Шумные ручьи спускались с гор, зачернели проталины в снежном покрове; в поле обнажились курганы, с утра щебетали жаворонки; девушки по вечерам хором пели веснянки. Обрадовались люди. Уже заботились о пахоте и севе; подкармливали рабочий скот, налаживали плуги и бороны. Приська не знала, как и чем она вспашет свою землю и посеет. Она возлагала все свои надежды на Карпа. Тот обещал ей помочь: «Не горюйте, все будет хорошо!» Но Приська, видно, уже сдружилась с горем, все больше печалилась. К тому же и сны ее еженощно донимают, да страшные такие! Особенно запомнился ей один.

Это было как раз накануне Благовещения. До этого дня она всегда говееет. Исповедавшись, она пришла из церкви домой и, чтобы не грешить, сразу легла спать. Ей долго не спалось, тревожные мысли заставили долго ворочаться с боку на бок, потом ей очень захотелось есть. Она даже удивилась... Никогда этого с ней не случалось, а тут – как на грех! Она гнала прочь от себя этот греховный соблазн и незаметно уснула.

И снится ей: идет она неведомо куда по глубокой зеленой долине; по обе стороны – пастбище. Горы покрыты темным лесом, и долина словно писаная. Солнце сияет, золотит горы, леса и долину. Справа на самой вершине горы красуется белая церковка, сверкая куполами и золотым крестом. «Что это? Не Киев ли?» И вот она направляется к церкви. Гора высокая, крутая тропа вьется вокруг нее змейкой к вершине. Неужели она не взберется? Поднимется немного, отдохнет и снова идет вверх. Она уже высоко поднялась, как вдруг видит – среди деревьев лежит какой-то зверь и так неприязненно глядит на нее. Глаза его огнем горят, а сам он такой страшный да лютый. Она так и приросла к месту, а зверь и глазом не поведет!.. «Господи, – думает Приська, – куда же мне деться? Куда спрятаться?» Только она подняла ногу, как зверь бросился на нее!.. «Так это же волк!» – как молния блеснула мысль в ее голове. И что-то ее кольнуло в сердце, в голову, в ноги. Она в ужасе проснулась.

Сердце ее отчаянно билось. Господи, что это за сон! Что он предвещает? Она знала, что, если приснится собака, это к напасти. А волк? Это уже, видно, к большому горю.

Она рассказала сон Христе и Одарке.

– Да вам от забот такие сны снятся, – успокаивала ее Одарка.

Но Приська не успокоилась. Она никак не могла забыть этот сон.

Прошла неделя. Было Вербное воскресенье. День обещал быть погожим: на небе ни облачка – синь, прозрачность, простор. Солнце ласково согревает землю. Лужицы, замерзшие ночью, снова оттаяли, в проталинах журчит вода.

– Ну, мама, сегодня управлюсь пораньше, пообедаем, и пойду гулять. Я еще этой весной не гуляла, – говорит Христя.

Приська не прекословила: пусть идет! Только из церкви вышли, когда они сели обедать. Еще и не пообедали, как слышат, кто-то вошел в сени.

– Кого же это Бог несет? – спросила Приська, кладя ложку на стол.

В хату вошел сотский Карпенко. Поздоровался, с праздником поздравил.

– Спасибо, – отвечает Приська, а у самой сердце так и забилося. «С чего это он явился... Должно быть, неспроста...»

– А что хорошего скажете? – спрашивает она.

– За вами пришел, – отвечает Карпенко.

– Зачем?

– Не знаю. Старшина велел: «Поди, – говорит, – скажи, чтобы пришла в волость».

– Что ж там в волости?

– Суд какой-то. Не знаю. Меня это не касается, так я и не допытывался.

Чудно Приське и страшно. Она ни на кого в суд не подавала, а ее тянут. Разве Грыцько что-нибудь подстроил?

И, не кончив обедать, пошла. На душе тяжело, горько... Словно на пытку идет, не зная зачем... А сердце тревожно стучит, словно чувствует беду...

Насилу дошла.

Начальство все в сборе: старшина, писарь, староста, судьи, сотские.

– Привел, – доложил Карпенко.

– Где она?

Приська подошла ближе.

– Вот на тебя жалуется Загнибида.

– Какой Загнибида?

– Не знаешь? Тот, что у нас раньше писарем был. Он теперь в городе живет.

– Помню.

– Помнишь? Так вот, он и жалуется, что ты ему до сих пор свою дочку не доставила.

– Какую дочку? С какой стати?

– Ты ее внаймы ему отдала, что ли?

– Когда? Да я его лет десять и в глаза не видела.

– Этого я не знаю. Что он там пишет? Прочитайте, – сказал старшина.

Писарь начал читать. Складно, умело была написана жалоба, что Загнибида еще в Николин день договорился с Филиппом Притыкой нанять его, Притыки, дочку в услужение за десять рублей в год с его, Загнибиды, одеждой; что Притыка, очень нуждаясь в деньгах, получил с него, Загнибиды, пять рублей за полгода вперед, выдав долговую расписку; что, узнав о смерти Филиппа Притыки, он, Загнибида, просит теперь волостное управление заставить Христю Притыку либо отслужить полгода, либо вернуть семь рублей, ибо прошло уже больше трех месяцев с тех пор, как он отдал эти деньги, и он, Загнибида, как торговый человек, мог бы получить за это время не меньше двух рублей прибыли.

Приська слушала, но ничего не понимала. В ее голове словно молотки стучат слова: «Загнибида... пять рублей... Филипп... дочка...» В глазах у нее потемнело, перед глазами вертятся огненные круги.

– Поняла? – спрашивает старшина.

Приська тупо глядит на него.

– Муж тебе ничего об этом не говорил?

– Какой муж? – спросила Приська. Словно ветер в засохшей траве прозвучали ее слова.

– Твой! – крикнул старшина.

– Когда?

– Тьфу! – сердито плюнул старшина. – Когда? Ты сдурела или что?... Когда приходил домой!..

Приська не выдержала, слезы градом покатались из ее глаз, и сквозь рыдания она с трудом произнесла:

– Я его не видела... Как поехал... туда... в этот треклятый город... Там и смерть его настигла... Я ничего не знаю.

Судьи молчали. Рыдания Приськи вызвали у них жалость. Молчали также сотские и старшина. Только причитания Приськины нарушали тишину.

– Что же делать? – наклонившись к судьям, спросил старшина.

Те молчали.

– У тебя деньги есть? – спросил один из судей Приську.

– Откуда же они у меня возьмутся? – и Приська зарыдала еще сильнее.

– Если деньги есть, лучше отдай их Загнибиде. Ведь он расписку представил – надо вернуть.

– У меня нет ни полушки... – говорит Приська.

– Тогда пусть дочка отслужит.

– Она у меня одна... Я старая, немощная. Кто мне поможет?

Снова воцарилась глухая тишина. И только слышалось прерывистое всхлипывание Приськи.

– Ты не плачь, – говорит старшина. – Сама рассуди. Может, ты у кого займешь и отдашь долг. Надо же отдать.

Приська плакала.

– Ну, решай, – сказал судья, – вернешь долг или дочка отслужит?

– Нет у меня денег... одна дочь... – твердит Приська.

– Да это у нее повадка такая – донимать слезами, – слышался позади чей-то грубый голос.

Приська оглянулась – это говорил Грыцько. В его глазах играла злорадная усмешка.

– И отдаст – не сдохнет! – добавил Грыцько. – У ней хата своя, надел за ней остался... Какого же рожна ей еще надо? И дочка у нее кобыла; да и сама только прибедняется.

С горьким упреком посмотрела Приська на Грыцько. Не только слова, и слезы застряли у нее в горле. Глаза горят, а сама бледная как смерть, трясется, словно зверь, застигнутый в берлоге.

– Ты разве знаешь ее?

– Еще бы не знать. Вместе жили под одной крышей. И мужа ее знал... Лодырь был и пьянчужка, – пренебрежительно сказал Грыцько.

– Грыцько! Побойся Бога! Он уж на том свете, а тебе еще туда собираться надо... – прерывистым голосом произнесла Приська.

– И дочку знаю, – не слушая ее, продолжал Грыцько. – Здоровая девка. Таким бы только служить, а она у матери даром хлеб ест.

– Пропади ты! – не выдержав, крикнула Приська.

– Бабка, тут ругаться нельзя! – сказал старшина.

– Видите, видите! – обрадовался Грыцько. – Вот какая она немощная! Прибеднялась – куда там! Тихая и смиренная.

– Ты ж меня без ножа режешь! – сказала Приська.

– Хватит вам ссориться! Замолчи, Грыцько, – приказал старшина.

– Ну, как же ты решишь? – спросил он немного погодя Приську.

Грыцько злорадно усмехнулся. Судья сидел безмолвно.

– Как хотите, – в отчаянии сказала Приська. – Хоть разорвите меня и собакам бросьте!

– А ты не разоряйся здесь! – крикнул старшина. – Ее спрашивают, как ей хочется, а она еще брыкается. Ты знаешь, что суд, как захочет, так и постановит.

– Мне все равно! – огрызнулась Приська. – Что же мне сказать? Вы все против меня... Решите съесть живьем, ну и ешьте! Откуда мне знать, что там, в городе, было? Сговаривался ли Филипп с Загнибидой или нет? Я его не видела, не говорила с ним. Я ничего не знаю.

– Значит, долга не вернешь?

– У меня нет денег.

– Тогда пусть дочка отслужит, – сказал судья.

– Запишите, – обратился к писарю старшина.

Писарь начал писать. У Приськи мурашки бежали по телу, скрипевшее перо писаря словно раздирало ей сердце. Приська окинула быстрым взглядом комнату – Грыцько уже не было.

– Все, – сказал писарь.

– Так вот тебе решение: за те деньги, что твой муж взял у Загнибиды, пусть твоя дочка отслужит. Слышишь?

Приська стояла молча, безучастно, словно говорили о чем-то, ее не касающемся.

– Иди, – сказал старшина.

Приська не трогалась с места.

– Чего же ты стоишь? Иди домой! – снова сказал старшина и мигнул сотскому. Тот подошел к Приське и взял ее за руку.

Словно пьяная, пошатываясь, пошла Приська за сотским. На крыльце у нее закружилась голова, потемнело в глазах, и она, как сноп, повалилась на землю. Она опомнилась уже дома. Над ней стояла Христя и тужила, ломая руки.

Одарка утешала Христю, смачивая водой запекшиеся губы Приськи.

Где она? Что с ней творится? Померкшим взором она обвела хату. Это ее хата... вот плачет Христя... что-то говорит Одарка.

– Где я? – было ее первое слово.

– Дома, тетечка, дома, – сказала Одарка.

– Это ты, Одарка... Ты, Христя, – около меня... Слава Богу... – прошептала она, то открывая, то снова закрывая глаза. – О, как мне трудно! Как мне трудно! И почему я не умерла? Зачем я очнулась? – с плачем начала Приська. – Вот тебе и сон! Вот это напасть, это беда! Дочка, голубка моя! На то ли я тебя родила и кормила?

– Мамочка, я тут!.. Мамунечка, я около вас! – прикинув к матери, утешала ее Христя.

– Ты тут, тут... – шепчет Приська. – Нет, тебя уже тут нет. Ты уже не моя... Отняли тебя у меня.

Христя горестно глядела на мать, думая, не помутился ли у нее рассудок.

– Я ж тут, мама. Кто меня отнимает у вас?

– Добрые люди, дочка... Им завидно, что ты у меня растешь... По суду тебя отняли. Ты теперь не хозяйская дочка, а прислуга... Загнибида тебя заберет за каких-то пять рублей, которые на подати пошли, да часть Грыцько украл... За них пойдешь служить... Вот этот сон... этот проклятый сон!.. – сквозь слезы говорит Приська.

Христя всхлипывает, а Одарка поникла головой. Слушает прерывистую речь Приськи; ее лицо стало суровым и бледным. Материнским сердцем она глубоко почувствовала горе Приськи, поняла, отчего ту принесли домой полумертвой. Страшной показалась ей жизнь; думы, горькие как полынь, овладели ею. Вот и у нее растут дети, и у них ее отнимут... И никому нет дела до того, как будет болеть материнское сердце. Она подняла голову, чтобы еще раз посмотреть на Приську и навеки запомнить ее измученное лицо.

Солнце садилось; багровый свет залил хату. Приськино лицо было еще страшнее: бледно-желтое, оно казалось окровавленным.

Одарка ужаснулась: само солнце показывало, как обливается кровью сердце матери. «А людям все безразлично, – подумала она. – Стоит ли так жить, так мучиться?»

В это самое время Грыцько вернулся домой.

– Слава Богу! – войдя в хату, радостно промолвил он. – Избавился от ведьмы!

– Какой?

– Христю Притыку суд выпер в город служить.

– Тссс... – зашипела Хивря, показывая глазами на Федора, сидевшего в углу на лавке.

Грыцько взглянул на сына. Белый как мел, он держался руками за лавку и горящими глазами смотрел на отца, тяжело дыша.

Замявшись, Грыцько прошелся по хате, набил трубку, закурил и молча вышел из хаты.

Федор проводил глазами отца, потом взглянул на мать. Хивря, низко склонившись, сидела на лавке. Видно, им обоим стало стыдно перед сыном. Федор горько и глубоко вздохнул, встал и молча забрался на печь.

– И зачем ты сразу как вошел, так и брякнул? – выговаривала Хивря мужу, ложась спать.

– Да черт его знает! – оправдывался тот. – Вечерело, и я ничего не видел.

- Расскажи, как это получилось?
- А Федор спит?
- Спит. Не бойся.

Грыцько начал рассказывать, как он в городе встретил Загнибиду, как они с ним выпили и начали выкладывать друг другу свои успехи и неудачи. Загнибида говорил о своих торговых делах, кого и когда накрыл, как его надували. Грыцько в свою очередь рассказал о Федоре и просил посоветовать, как помочь этому горю.

- Это дочка того Притыки, что замерз? – спросил Загнибида.
- Того самого.
- Деньги он оставил какие-нибудь?
- Осталось пять рублей.

– Хорошо. Все будет хорошо. Я напишу расписку за его подписью, будто он эти деньги одолжил у меня. Расписку подадим в суд. Если заплатить нечем будет – суд решит: отслужить дочке. Вот ты и избавишься от нее, а тем временем сын выкинет ее из головы.

Тяжелый вздох и горький плач раздались в хате. Это, слушая страшный рассказ отца, заплакал Федор. Грыцько ткнул Хиврю в бок – подвела, мол! – и начал что-то бубнить словно спросонья.

Часть вторая В ГОРОДЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ярко светит весеннее солнце на чистом небе; весело играют его лучи в прозрачном воздухе; теплый южный ветер обвевает землю. Снег почернел, бегут талые воды. Они стекают с крутых гор в глубокие долины, размывают слежавшийся снег и мчатся по оврагам в реки. А там уже из-за половодья льда не видно. Еще один такой день – и вода поднимет лед на поверхность, раздробит его и понесет вниз по течению. Забурлят, заклокочут потоки, ломая мостки и все преграды на пути, наносят людям ущерб.

Все равно! Вода прибудет и снег спадет; только бы скорее снег растаял, а солнце и теплые дожди согрели землю. Тогда возрадуется сердце хлебороба, оживут его надежды! Тогда задумается он, как ему быть, чтобы не прожить зиму впроголодь, да еще кое-что и на продажу добыть.

Горька ты и трудна, крестьянская доля! Утренними туманами обвита, дождями полита, потом и кровью омыта! Тяжелая ноша согнула тебя, хлебопашца: податями ты опутан, тяжелым трудом измучен, землей-матушкой обделен!.. А все же каждую весну сердце радуется, оживляет его обманщица-надежда...

Только сердце Приськи не обрадовалось весне – скоро Христя уйдет в город, внаймы. Зачем ей теперь эта весна, если не с кем встречать ее? Зачем это тепло, ясное солнышко, когда оно уже не согревает охладевшее сердце? Зачем эти зеленые поля, густо заросшие грядки, если по ним не ходить, урожая с них не собирать? Одно у нее было сокровище, для которого она день-деньской хлопотала, рук не покладала... Теперь и его отняли у нее! Пришли, силой взяли... и поведут ее, и отдадут чужим людям на тяжкий подневольный труд, на понукание горькое и обидное, на брань, на вечные укоры... За что? За какую провинность? За что такая напасть?

Не радовалась и Христя, когда она на рассвете, попрощавшись с матерью, с селом, неторопливо шла по широкому шляху в город. Позади – плач и горе матери, впереди – неведомая доля прислужницы. Что она сулит? Где уж там радостного ждать? Не от хорошей жизни уходят люди к чужим работать на них. Клонится все ниже и ниже голова Христи, все чаще катятся слезы из ее глаз. Христя, не замечая их, нехотя плетется дальше.

Не одна шла она. Сотского Кирила прислали за ней из волости, чтобы доставил ее на место. Это Грыцько Супруненко постарался.

Кирило – уже немолодой человек, невысокого роста, плотный, круглолицый, с рыжими усами и густыми бровями, из-под которых добродушно глядели карие глаза. Христя его знает давно. Он был бессменно сотским, сколько она его помнит. Другие год отслужат и уже отпрашиваются, а он – нет. Выйдя на волю из дворовых крестьян, без надела, он кое-как обзавелся хатой, приписался к Марьяновскому обществу и стал сотским, так и до сего дня был им. От общества на его долю перепало столько-то ржи, пшеницы, ячменя, гречихи. Хоть и невелики были эти подачки, но он никогда не жаловался. Зато жена его Оришка, старая ворчливая баба, не раз сетовала на общество.

Все знали Оришку как ведьму и поэтому понемногу увеличивали жалованье сотскому Кириле, опасаясь, как бы она не причинила беды. Кирило жил больше в волостном правлении, чем дома. Домой он забегал только в случае крайней необходимости. Не выносил он ссор, а Оришка любила повздорить. Он убегал от нее в канцелярию или к кому-нибудь из соседей.

Христя часто видела его в своей хате. Когда у ее отца случались какие-нибудь неприятности, он прежде всего искал Кирило, чтобы поделиться с ним. Жалуется, бывало, на злую долю, на дурных людей, а Кирило его утешает. «Все это глупости, помяни о правде святой, – говорит Кирило. – Хоть и горя у нас немало, донимают беды и лиходеи, но правда на нашей стороне. Не горюй, брат! Помрут наши обидчики, как и мы, грешные... Помрут и ничего из награбленного добра с собой не возьмут. Всех нас сыра-земля сравняет».

Тихие речи сотского, его искренность, разумные доводы умеряли скорбь Филиппа, не раз приносили успокоение его встревоженному сердцу.

Отчего же теперь Кирило молчит? Почему не утешает дочку своего несчастного друга?

Он еле поспекает за ней – так она вдруг заторопилась.

– Легче, дочка, – сказал он. – Не спеши так. День большой, да и путь немалый, уморимся. Лишь бы к вечеру добраться. Пожалей мои старые ноги, да и свои побереги – им еще долго придется топтать землю.

Христя уменьшила шаг. Поравнявшись с ней, Кирило вытащил трубку и начал ее набивать. Шли молча. Снег сильно таял, дорогу заливала вода, и местами ноги вязли в жидком месиве. Чем выше поднималось солнце, тем сильнее грело оно, веселые блики играли на обнажившихся курганах и талой воде. Становилось жарко. Пот выступил на лбу сотского. Сдвинув шапку на затылок и распустив полы сермяги, он плелся вслед за Христей, размахивая длинной палкой, стараясь ступать по сухим островкам среди луж. Трубка его дымилась, оставляя позади сизый след в чистом, прозрачном воздухе. Христя шагала прямо по дороге.

– Ну, сегодня снегу убудет, – сказал Кирило, чтобы завязать разговор. – Гляди, какая каша стала от воды! Хоть бы до города добраться! Верно, там, на гнилом переходе, вода теперь по колено. Чего доброго, и не пройдем. И утонуть можно, – закончил Кирило, потеряв надежду услышать от Христи хоть слово.

– Кабы! – откликнулась она.

– Что кабы? – спросил Кирило. – Утонуть?

– Ну да! – сказала Христя, вытирая слезы рукавом.

– Пусть Бог милует! Зачем торопиться? Как ни бывает горько иногда, а все же лучше жить... Тебе, молодой, не к лицу такое говорить. Матери плохо – одна она осталась, помочь ей некому, – а тебе что? Молодая, здоровая... Разве тебя работа страшит? Да в селе работа в десять раз тяжелее, чем в городе. Какая там работа? В поле тебе там не ходить, не жать, снопов не вязать. Домашняя работа. Как говорят там: помыть, подать – и ложись спать... Не горюй, лишь бы здоровье, а работа – что? Я сам, слоняясь по свету, служил в городе и хорошо знаю. Кабы не своя хата и служба обществу, я бы и сейчас в город ушел. Ей-Богу, правду говорю. Там уже то хорошо, что людей много. Хоть и чужие, так ты на это не смотри. Среди чужих иногда лучше, чем у своих: ты их не знаешь, они тебя не знают, допекать не станут. Не то что у нас в селе!

Христя уже не в первый раз слышит рассказы о городской жизни. Марина Кучерявенко, ее подруга, третий год служит в городе. Приходила она как-то на праздник в село и говорила, что лучшей службы нет, как в городе: и работы не много, и не тяжелая она, и люди там обходительные, и платят хорошо. За два года Марина скопила целый сундук всякого добра: и платков, и рушников, и юбок, и плахт, еще и тулупчик хороший. В селе за десять лет столько не наживешь. Отчего же мать так плачет? Отчего так убивается? Целая неделя прошла после суда, и всю эту неделю день и ночь мать не переставала плакать, рассказывая ей про горькую подневольную службу у чужих людей. Никто тебе и слова доброго не скажет, если обидят – никто не заступится; больна ли ты – не спросят; а работать заставляют без отдыха. Нанялся – продался!.. И с такой безнадежностью и отчаянием рассказывала все это мать, так горько поливала каждое слово горячими слезами! А Кирило вот совсем другое поет... и Марина тоже другое говорила... Где же правда?... И мать смолodu служила и должна все это знать... Разве тогда

хуже было, жилось тяжелее?... Как в тумане Христя, словно бродит в пустыне темной осенней ночью... А может – как у кого: у одного хорошо, а у другого плохо. Ну, а у Загнибиды?

– Дядька! – окликнула она сотского. – Вы знаете Загнибиду? Что это за человек? Какая у него работа?

– Загнибиду? Ххе!.. – вынув изо рта трубку и сплюнув, сказал Кирило. – Загнибиду? Как же мне его не знать, если он в нашей волости писарем был?! Хорошо знаю. Еще отца его немного знал. Пузатый такой – головой служил... И лютый, спаси Боже! За недоимки людей, бывало, раздевал догола и на мороз выводил, да еще водой обливал. Ну да и сын его – цаца. Этот, правда, голых на мороз не выводил, зато драл с живого и с мертвого. Пьявка – не человек был! Ну, а теперь – не знаю, может, и переменялся. Люди рассказывали, что он очень рад, когда встречает кого-нибудь из нашего села – и напоит, и накормит... Понятно, не нас, голытьбу, а богачей... – добавил Кирило, делая ударение то на одном слове, то на другом.

– Ну, и служба, – начал снова Кирило, – какая же у него служба? Оставив должность писаря, он стал лавочником или прасолом... бес его знает... Вот посмотришь, какая у него работа. Жена у него, говорят, неусыпная хозяйка и добрый человек, а впрочем, я с ней дела не имел. Детей нет и не было. Кому только все добро достанется?... А добра много... Разве промотает его – говорят, выпивает сильно. Да не верь этому: мало ли что говорят. Верь только своим глазам. Вот поработаешь у него, так узнаешь, какой это Загнибида. Крутой был, пока в писарях служил, – без рубля к нему за паспортом и не ходи. Вы, говорит, на заработки уходите деньги загребать, а тут с голоду подыхай... клади рубль! Ну и давали, да еще и в шинок угощать водили. Такой он был, а теперь не знаю.

Христя глубоко вздохнула.

– А ты не вздыхай! Чего тебе? Нехорошо будет – не только света, что в окне, за окном больше. Лишь бы ты была старательной, а хорошей слугой все дорожат. Это тебе не село. А вот и Гнилой переход! – И Кирило стал спускаться с горы в балку, на дне которой протекал маленький ручеек. – Ну, это еще не беда. Воды немного, можно перескочить через этот ручеек! – крикнул он, разбегаясь для прыжка. Но только Кирило опустил на противоположный берег, как сразу и увяз по пояс. – Вот ловушка! – кряхтел он, выкарабкиваясь. – Черт бы его побрал, полны сапоги воды.

Христя еще стояла по ту сторону ручья, когда Кирило провалился в снег, и вся затряслась. Ей казалось, что он тонет. Когда же он выбрался, весь мокрый, ее разобрал смех.

– Хотели, дядька, по-молодецки? – улынувшись, спросила Христя.

– А вышло чертовски! – ответил Кирило, идя к мостику, чтобы переобуться. Вода чавкала в его сапогах.

Христя тоже взошла на мостик и, опершись на перила, ждала, пока Кирило переобуется.

– Вот тебе перешел и не замочился! – сердился Кирило. – И понесла же меня нелегкая! Думал – бугорок, откуда там вода возьмется? А она вверху присыпана снегом, а внизу воды – дна не достанешь...

– Вы бы, дядька, немного посидели, портянки просохли бы, – сказала Христя, – а то не годится мокрыми ноги обвертывать.

– Как это? – крикнул Кирило.

– Как бы чего не случилось.

– А случится – что же поделаешь? Все равно умирать придется.

Христя умолкла. Молчал и Кирило. Переобувшись, он встал, поглядел на ноги, надел сермягу и, взяв палку, вновь побрел к шляху.

Шли молча. Христя не решалась первая начать разговор. Кирило часто поглядывал на свои сапоги, словно хотел удостовериться, что они еще целы, сопел, сплевывал.

– Тут стой! – сказал он, когда показались Осипенковы хутора. – Отдохнем, подкрепимся. Половину дороги прошли – хватит!

Кирило повернул к хуторам. Христя остановилась, не зная, следовать ли ей за сотским, или подождать его у дороги.

– А ты чего стала? Иди. Люди добрые, не выгонят из хаты.

Две огромные собаки бросились на них из-за сарая. Тотчас же из хаты выбежала высокая, стройная молодлица.

– Вон, проклятые! – крикнула она, запустив в собак снежным комом. Красивое лицо молодницы слегка зарумянилось, ее бархатистые глаза на миг сверкнули.

– Здорово, Марья! Ты ли это? – спросил Кирило. Молодлица улыбнулась.

– Да я же! – вздохнув, ответила она.

– А Сидор дома? – спросил Кирило.

– Нет его. В город уехал. Одна мать... пошла браниться да никак не уймется... Идите в хату.

В хате они застали дородную старуху. Широкое лицо ее испещрено глубокими морщинами; губы толстые, отвисшие; нос сизый, с черной бородавкой на конце; злые зеленые глаза метали искры из-под насупленных бровей.

Христе она показалась ведьмой.

– Здорово, Явдоха! – сказал Кирило.

Явдоха, сидевшая на лавке, только повела глазами в ответ.

– Как живется-можется?

– Эх, живется... – заворчала старуха. Голос ее звучал, как надтреснутый колокол, и Христя даже вздрогнула. – Никак не живется! Поехал Сидор из дому, а мы и сложили ручки, – ворчала она, бросая злые взгляды на Марью.

Лицо Марьи сильно побледнело, а глаза блестели. Она неприязненно посмотрела на Явдоху, тряхнула головой и молча вышла из хаты.

– Так всегда, – не унималась старуха. – Хоть бы тебе слово сказала: будто сроду немая или у нее, прости Господи, язык отнялся... А зайдут чужие в хату, она хи-хи и ха-ха; целый день смеялась бы с ними. А для матери слова не найдет. Ну и взял Сидор жену! Выбрал себе пару! Говорила ему: не бери городских, это проклятуший народ!.. Там у них в городе роскошь, воля, не бояться никого... Вот так и привыкли без дела сидеть, по семь воскресений на одной неделе справлять! А приедет на хозяйство – лишь бы было есть да пить, а сама, черт ее батька, не позаботится... Где уж от прислуги добра ждать? Привыкнет о чужом не беспокоиться, да так и со своим. Говорила сыну: не бери ее, Сидор! Возьми лучше Приську Гаманенко, она тебе будет женой, а мне – невесткой... Придурковатый какой-то, прости Господи!.. Говорит, если не ее, так мне никого не надо... обжегорила, видно, дурня; опоила колдовским зельем, городская шлюха!.. Не послушался. А теперь бейся с нею, тяни лямку. Он же никогда дома не сидит: то сюда, то туда слоняется, не видит, что матери достается!.. Вот беда на меня свалилась! Надеялась отдохнуть на старости лет – вот и отдохнула, – закончила она, тяжело сопя.

Наступила тишина. Кирило сидел за столом, оглядывая хату. Христя стояла у порога.

«Вот что про нашего брата говорят: лентяйка и недотрога, такая и сякая... Господи!..» – Сердце ее словно кто-то сжал в кулак, навертывались слезы.

– А если б ты знала, Явдоха, что с нами случилось, – наконец нарушил Кирило тягостное молчание. И начал рассказывать, как он чуть не утонул в Гнилом переходе.

Марья вошла в хату с вязанкой дров в руках. Видно, ей было не под силу таскать их, она вся согнулась, а лицо побагровело от натуги.

– Ну и тяжелые! – сказала Марья, бросив дрова в угол. Они с грохотом упали на пол. Старуха набросилась на нее:

– Покоя от тебя нету. Набрала дров, чертова дура, да донести не может, швыряется... Печь до вечера не затопит.

– Так надо же принести дрова... – тихо сказала Марья. Старуха потемнела от прилива злобы.

– А с полом ты что сделала? Давно мазала? Десять раз на неделе мажешь...

– Да будет уж вам. Оставьте немного на завтра, – с укоризной сказала Марья.

Старуха покачала головой и сердито плюнула.

– Чего ты стоишь? – обратилась Марья к Христе. – Садись отдохни. Куда вас Бог несет?

– В город, – ответил Кирило.

Христя робко опустилась на лавку.

– На базар?

– На базар. Ее продавать веду, – шутливо сказал Кирило, кивнув головой на Христю.

Марья с грустью посмотрела на девушку.

– Ее? – спросила Марья.

– А кого же? – ответил Кирило.

– Вы же смотрите, дядька, не продешевите. За такую молодую и красивую дивчину возьмите и цену хорошую.

Старуха заерзала на лавке, словно ее что-то укусило, потом встала и направилась к двери.

– Куда же ты, Явдоха? – спросил Кирило.

Явдоха даже не оглянулась, только, проходя мимо Марьи, засопела.

– Отчего она так сердится? – спросил Кирило, когда Явдоха скрылась в сенях.

Марья пожала плечами.

– Она всегда такая. Разве у нее когда-нибудь бывает, как у людей? Как в пекле – так всегда и бурлит!

– Куда же это она?

– Пошла другую невестку пилить, с меня только начала, а то ей одной мало.

Снова замолчали. Марья подбросила дров в печь.

– Вот что, Марья, – сказал, помолчав, Кирило, – нет ли у вас чарки водки? Провалился я по дороге, вымок, а теперь что-то знобь берет.

– Я сейчас.

И Марья, подбросив несколько поленьев в печь, выбежала из хаты и быстро вернулась с бутылкой в руке.

– Вот это хорошо! Аж по жилочкам пошла! – сказал Кирилл, выпив чарку.

– А все-таки зачем вы в город идете? – снова спросила Марья.

Кирило начал рассказывать всю историю сначала. На Христю этот рассказ произвел такое впечатление, что она, не выдержав, заплакала.

– Чего ты, девка, плачешь? Не горюй, в городе жить хорошо. Я сама там служила и проклиная свою дурную голову, что пошла замуж. Что тут хорошего? Неволя, да и только. А брани сколько наслушаешься? Вы на минуту зашли и то ее не миновали. А мне каково день и ночь это переносить? Будь оно проклято... Подожду еще немного, потерплю, а если не уймется, брошу все и уйду, – махнув рукой, сказала Марья.

– Ну, и надумала такую глупость! – сказал Кирило. – А Сидор как? А хозяйство?

– Ну их... с ихним хозяйством! А Сидор и другую себе найдет, если захочет.

– Вот так дело! – возмутился Кирило. – За тем ли он тебя брал, чтобы другую искать?

– Нет моей мочи больше терпеть! – горько промолвила Марья. – Нет мочи, и все! Я уж на своем веку немало настрадалась: знаю, что это не сахар...

– Да, видно, забыла!

– Нет, – глубоко вздохнув, сказала Марья. – Такое не забывается.

Помолчав немного, она снова заговорила:

– В городе? Да только в городе и жить! Там вольно, людно... Никто тебя не замечает, никто не пилит и не понукает, как тут. От зари до зари только и слышишь одно ворчанье!..

А в городе, когда я вот на последнем месте служила, как сыр в масле каталась. Работа была нетяжелая – вытоплю печь, приготовлю поесть, подам и потом свободна весь день и всю ночь... Никто тебя не спрашивает, где была, куда ходила. А тут? Да пропади оно пропадом! – крикнула Марья, и в ее черных глазах заблестели слезы.

– Уж так ты, Марья, к городу привязалась, – вздохнув, сказал Кирило.

– И до гроба такой останусь! – резко произнесла Марья, после чего все замолчали.

– А что, девка, сидят, сидят, да и уходят? – сказал наконец Кирило, поднимаясь. Христя тоже встала.

– Прощай, Марья. И выкинь дурь из головы! – сказал Кирило.

– Прощайте! Пошли вам Господь счастья! Может, еще встретимся в городе, – обратилась она к Христе.

Христя и Марья сразу понравились друг другу; что-то общее, родственное сближало их.

– Что это за люди? – спросила Христя у сотского, когда они отошли немного от хутора.

– Какие?

– Те... у которых мы сейчас были.

– Люди? Осипенко... Они мне дальними родственниками доводятся. Ничего, добрые люди. Если бы не эта старая ворчунья... она их точит, как ржавчина железо. Больше всего достается Марье. Да и Марья эта, Бог ее знает, какая-то чудная.

Христя не стала расспрашивать, почему он считает Марью чудной. Понурившись, они молча продолжали путь. Что думал Кирило, Господь его знает, а Христя... она вспомнила Марью, мать, покинутое село... Мысли, словно голуби, кружились; а печаль все больше овладевала ею.

Солнце спускалось к горизонту. Дорога почернела от воды. Все чаще попадались на ней прохожие и проезжие; Кирило и Христя с ними не заговаривали. Но вот на горе засинела роща, дым и пыль подымались из-за нее; какой-то глухой гул доносился оттуда. Тоска все больше и больше теснила грудь Христи.

Около рощи они повернули вправо. Дорога, покрытая талым снегом, петляла вверх.

Так же молча поднимались они все выше и выше.

– Вот тебе и город, – сказал Кирило, когда они взобрались на гору.

Перед их глазами в долине раскинулся город. Широкие улицы, как русла рек, пересекали его вдоль и поперек. Словно каменные стражи, поднимались высокие дома, красные – кирпичные и выбеленные известкой. Церкви на небольших площадях тянулись ввысь своими острыми шпилями; их окружали торговые ряды. Словно мошкara, сновали люди. Повсюду громкий говор, шум, гам.

Заходящее солнце заливает город своим багровым светом, словно кровью.

Христе стало страшно. Город показался ей притаившимся хищным зверем с окровавленной пастью и белыми клыками, который вот-вот бросится на нее.

– Ну, девка, постояли – и хватит, пошли! – громко сказал Кирило; и слова его оглушили Христю точно набатный звон.

Она вздрогнула и покачнулась, как подстреленная... Слезы градом покатились из ее глаз.

ГЛАВА ВТОРАЯ

– Если бы сам черт вмешался, то не натворил бы такого!.. Пост на исходе, а у меня одной шуки целый воз не распродан, чехони две бочки... и ни с места. Да тут еще оттепель... Тьфу! В лавку хоть не заходи... – крикнул Загнибида, вернувшись домой.

Христя похолодела, увидев хозяина. Долговязый, с большущими рыжими усами, острым крючковатым носом и нахмуренными бровями, из-под которых, словно раскаленные угли, блестящие красные, как у кролика, глаза. Одет он был на городской манер: в длинном суконном кафтане, широкой барашковой шапке пирожком, которая, словно сковорода, прикрывала его бычьей головой. Его лицо, фигура, походка говорили, что это человек сильный, решительный: ничто его не испугает, ни перед чем не отступит в достижении своих целей. А красные кроличьи глаза выдавали лукавую и ехидную душу: писарская каверзность сочеталась в нем с торгашеским плутовством.

– А это кто, Олена? – сверкнув глазами на Христю, спросил Загнибида свою жену, худощавую молодницу с бледным лицом и голубыми глазами. Казалось, само небо отразилось в ее светлых зрачках.

– Это же новая прислуга, – ответила она тихим, приветливым голосом, словно струны прозвенели.

Загнибида, стоя среди комнаты, бросал быстрые взгляды то на Христю, притаившуюся у порога, то на жену. Так орел с вышины вглядывается в свою добычу, выбирает, какая аппетитней.

Христя, невысокая, с полным румяным лицом, сверкающими глазами, чернобровая, резко отличалась от Олены. Бледная и худая, та походила на увядший цветок, а Христя – на только что распутившийся. У Загнибиды глаза разгорелись, когда он посмотрел на ее стройный стан.

– Насилу дождались вашей милости! – неласково сказал Загнибида. – Ты что так долго собиралась? – еще более неприветливо спросил он.

У Христи от страха зарябило в глазах.

– Петро! – сказала Олена, покачав головой.

Загнибида насмешливо взглянул на Христю, потом на жену и молча пошел в другую комнату.

– Давай, девка, самовар, – сказала Олена и сама начала рыться в шкафу.

Христя не помнит, как выскочила в сени, схватила кипящий самовар и внесла его.

– Туда, туда... В комнату неси, Христя, и поставь его на стол, – распорядилась Олена, вынимая из шкафа чайную посуду.

Христя застала Загнибиду за столом. Откинувшись, он быстро скользил глазами по комнате. Когда Христя вошла, он так и впился в нее своими кроличьими глазами. Ей казалось, что его пронизывающий взгляд проникает до самого ее сердца, мутит душу. Она вся дрожала, самовар дергался в ее руках, и если б не поставила его быстро на стол, то, верно, выпустила бы из рук. Но не могла сдержаться и всхлипнула. Кипяток обжег ее руку, стекая на стол... Она почувствовала невыносимую боль в пальцах, но даже не охнула и виду не показала, только всю ее словно жаром обдало.

Загнибида смотрел на лужицу, образовавшуюся на столе, а Христя стояла ни живая ни мертвая... «Что я наделала? Что мне за это будет?» – думала она. Загнибида молчал. Христя точно окаменела.

– На стол пролила! – тихо сказала хозяйка, входя в комнату. – Возьми тряпку и вытри.

Христя мигом исполнила приказание.

– Проворная! – буркнул ей вслед Загнибида, когда она, управившись, выходила из комнаты.

– Ничего, девка, – сказала Олена.

Больше Христя ничего не слышала. Ожог в пальцах не давал ей покоя. Хотелось кричать от боли, но она боялась даже вздохнуть. Горячие слезы текли из ее глаз. Она то прижимала ошпаренную руку к груди, то прикладывала к губам – боль не унималась. Из комнаты к ней доносился звон посуды и прихлебывание хозяев.

– Налей еще, – уже в четвертый раз сказал Загнибида. – Будто и соленого не ел, а пить хочется.

«Хорошо им, пьют, закусывают, а я от боли места себе не найду!» – думала Христя, тихо всхлипывая.

– Тише... – сказала Олена, прислушиваясь. – Мыши скребутся?

Загнибида не ответил, а Христя больше не могла сдерживаться: когда стало тихо, горькие рыдания вырвались из ее груди.

– Плачет? – спросил Загнибида.

Христя затаила дыхание.

Олена ее окликнула.

– А ее зовут Христя? Христя в монисте! – пошутил Загнибида.

– Христя! – еще раз окликнула ее Олена, не дождавшись ответа.

– Че-е-го? – сквозь слезы отозвалась Христя.

– Это ты плачешь? Иди сюда.

Христя вошла в комнату, заплаканная, придерживая ошпаренную руку.

– Что с тобой? – допытывалась Олена.

– Да ничего! – нетерпеливо ответила Христя и направилась к двери.

– Как ничего? Скажи, почему ты плачешь?

– Пальцы обожгла.

– Чем?

Только Христя собралась ответить, как что-то булькнуло, прыснуло... и раздался оглушительный хохот.

Это Загнибида, хлебнув чай, громко расхохотался.

– Ну, с чего ты? – спросила Олена.

Загнибида смеялся. Его грузное тело колыхалось, а лицо посинело от натуги. Этот хохот острым ножом пронзил сердце Христи. Наконец Загнибида захлебнулся и начал кашлять.

– Да уж знаю! – крикнул он, откашлявшись, и начал рассказывать, как Христя ошпарила руку.

– И терпеливая, да все ж не выдержала! – добавил он, улыбаясь.

Христе еще обидней стало: это над ней он издевается. «Чтоб ты подавился своим смехом, проклятый!» – подумала она, заливаясь слезами.

– Ты бы что-нибудь сделала, глупая. Хоть бы тертой репы приложила, – посоветовала Олена. Выйдя на кухню, она натерла репу и обложила ею покрасневшие пальцы Христи.

Боль немного уменьшилась; хоть и дергает, но уже не так невыносимо. А Загнибида никак не успокоится; на мгновение умолкнет и снова заливается смехом.

– Ну, чего ты хохочешь? – прикрикнула на него Олена. – Спятил, что ли? Девка места себе не находит, а он хохочет...

– Да, если б ты видела... это ж при мне случилось... на моих глазах... Как плеснула кипятком на руку... Сразу как огонь стала, но и словом не обмолвилась... Вот дура! Сказано: эти, из села, – что бревна неотесанные!

Христе стало еще досадней, когда она услышала обидные слова Загнибиды. В самом деле, почему она сразу не сказала, что обожглась? Положили б тертой репы, и она так долго не

терпела бы боли. Так нет же, побоялась... Кого? Чего?... Всего!.. И того, что налила на стол, и того, что хозяин смотрел на нее. А все потому, что она из села, – бревно неотесанное.

Тут она снова услышала смех Загнибиды. «Ну и бездушный человек! И въедливый какой! Кому слезы, а кому смех...» Ей вспомнились слова сотского: пьявка, а не человек! «Пьявка – пьявка и есть», – думалось ей. Таким и сдохнет. А ей же здесь придется пробыть целых полгода, полгода слушать ехидные речи, издевательства. Господи! Один сегодняшний вечер ей показался вечностью. «Он же из меня всю кровь выпьет. Недаром его жена такая худющая, вялая... Хлебнула, видимо, немало горя на своем веку, бедняжка!»

Такие мысли кружились в голове Христи. Потом они незаметно перенеслись отсюда в село, к матери. Что-то там теперь? Мать, верно, плачет. Несчастная! Впервые она почувствовала такую острую жалость к матери. Ее неудержимо тянуло к этой горемычной, но единственной близкой доброй душе. Все бы отдала, только бы быть со своей несчастной старушкой. Что же с ней будет?

Жизнь впервые показала ей свое суровое обличье, она почувствовала ее тяжелое ярмо. «Нет счастья и доли беднякам на этом свете – и не будет», – решила она.

– Христя, ты бы свет погасила, зачем зря горит? – из другой комнаты сказала хозяйка. – Сегодня мы уже ничего делать не будем.

Христя погасила свет. Что ж, и ей теперь ложиться? Она бы не прочь отдохнуть. Но где? Тут ничего не разберешь.

Она примостилась у стола, положив голову на кулак. Слава Богу, боль в руке утихла; только что-то горит внутри, сосет под ложечкой. Да ведь она сегодня не обедала! Вышла из дома рано, пришла поздно. Ее никто и не спросил, ела ли она. Да ей и теперь не хочется есть, только что-то не по себе.

В соседней комнате опять заговорили.

– Когда же ты думаешь куличи печь? – спросил Загнибида.

– Завтра начну, – ответила Олена. – Не знаю, много ли печь?

– Чтобы хватило.

– Ты всегда так говоришь. А сколько надо, чтобы хватило? И в прошлом году, и в позапрошлом пекли одинаково. В позапрошлом году еще осталось, а в прошлом, как назвал гостей, так все враз и поели.

– Ну, вот так и рассчитывай... Чтобы хватило, и все!

Голоса затихли. Немного спустя снова заговорили.

– Тебя куличи беспокоят, – начал Загнибида, – а я другим озабочен. Вот на одной чехони убытку рублей двести будет. Подвел меня этот Колесник! Купи, говорит, пополам возьмем. Я и купил, а он – черт его батьке – от своей половины отказался. А теперь изворачивайся. Придется в канаву выбросить, да как бы еще полиция не накрыла. Сегодня базарный надзиратель приходил. «Петро Лукич! Петро Лукич! – кричит. – Что это из вашей лавки такой тяжелый дух идет?» – «Да, – говорю ему, усмехаюсь, – оттого, что вы к нам никогда не зайдете». – «Ну, ну, – говорит, – шутки в сторону! Отберите, – говорит, – с десятка хороших щук, я десятника за ними пришлю».

– Что ж, ты и отобрал?

– А как же. Это еще хорошо. Если б он зашел в лавку и разворочал гниль! Я и не знаю, как это мужичье ест. Ну, пададь падалью! Сегодня заходит один: «Что-то она, – говорит, – пахивает». – «Да, – говорю, – оттепель почуяла, а рыба – золото». Вынимаю из-под стойки, чтоб показать ему, а она так и разлезается. Ничего – берет... Вот кабы Лошаков на завод взял! На днях забегал. «Бочку, – говорит, – надо». – «Не совсем, – говорю, – хороша». – «Да черт с ней! У меня рабочие поедят». Так вот уж третий день идет, а он все не посылает. Если б взял бочку – сам бы привез ему! В эти дни надеюсь бочку продать, а там, если полбочки и пропадет, – небольшая потеря. Где наше не пропадало!

– А ты знаешь, что надо Христе шить одежду? – ввернула Олена.

– Подождет! – отрезал Загнибида. – Мы ее больше ждали. Кто теперь станет шить? Самой же некогда будет. После праздника уж сошьешь. Посмотрим еще, какая из нее работница выйдет.

– Да тише! – шепнула Олена.

– Что – тише?

Христя затаила дыхание, чтобы не пропустить ни слова из того, что еще будут о ней говорить. Но напрасно!.. Разговор на этом оборвался. А когда он возобновился, то говорили о незнакомых ей людях, о наживе, о торговых проделках: кто кого обдурил, подвел, перехитрил.

Грустно стало Христе, тяжело ей слушать все это. Где уж тут ждать милости, если только об одном и говорят, как бы из другого жилы вымотать.

– Христя, возьми самовар, – наконец крикнула Олена.

Христя прибрала на столе. А потом еще Загнибиде захотелось поужинать, и она подала ему ужин. Затем вымыла посуду, сама поужинала. Близилась полночь, а хозяйка еще велела, чтобы перед рассветом поставить самовар:

– Завтра день базарный, Петру Лукичу надо в лавке рано быть.

«Людей травить гнилой чехонью», – подумала Христя, тяжело вздохнув. Примостилась на лавке, погасила свет и легла.

Черная, непроглядная темнота обняла ее сразу, хоть глаз выколи – ничего не видно. Из соседней комнаты доносится глухой шепот. Это хозяева Богу молятся или шепчутся о будущих барышах? Ей-то что?

Утомленная ходьбой и вечерней работой, она сразу закрыла глаза. Сонное забытие овладело ею.

Христя быстро уснула. Прижав обожженную руку к груди, она крепко спала. На то и ночь, чтобы все могли отдохнуть. Но все ли? Что это – свет показался в маленькой комнатке? Вот он уже в большой комнате рядом, там же чернеет высокая фигура... Кто это?

Загнибида, раздетый, босой, вошел в кухню и, озираясь, прокрался в сени. Он слегка надавил щеколду, чтобы она не стукнула, открыл дверь, высоко над головой он держал лампу.

В углу на лавке спит Христя. Черная тень ее колыхнется на стене. У Загнибиды загорелись глаза, когда он ее увидел. Тихо, на цыпочках, подошел он к ней, поднял свечу вверх так, чтобы свет падал на голову Христи. Из темноты показалось ее спокойное круглое лицо, черные брови, слегка раскрытый рот. Еле заметно поднимается высокая грудь.

Загнибида слегка вздрогнул. Долго он стоял над спящей девушкой, любовался ее красотой. Потом протянул вперед руку, подержал над нею, словно над пламенем костра, и тихо опустил. Христя встрепенулась. Свет погас. Снова наступила непроницаемая темень. Спросонья Христя не разобрала, видела ли она свет, или это только приснилось ей. Утомленная, она повернулась на другой бок и снова уснула. Она не слышала, как некоторое время спустя что-то зашуршало в темноте, потом скрипнули двери, и проснувшаяся Олена спросила:

– Кто это?

– Это я, – тяжело дыша, сказал Загнибида.

– Что ты?

– Ходил смотреть, заперта ли дверь.

Он грузно опустился на кровать, так что она заскрипела, долго ворочался, пока не уснул. Зато Олена всю ночь не спала.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«Христос воскрес! Христос воскрес!» – только и слышалось беспрестанно в комнатах Загнибиды на второй день Пасхи.

В этот день у Загнибиды всегда пир горой. Круглый год заботы и хлопоты, покупки и продажи, ссоры и примирения. Праздники только на Пасху и Рождество. И то потому, что в эти дни никто не торгует. Вместо отдыха справляют пиры то у одного, то у другого. Собираются целыми толпами; нагрянут к одному, и столько народу набьется – иголке упасть негде; шум, гам такой стоит, точно вода в шлюзах клокочет: спорят, смеются, выпивают и закусывают. Так уж издавна повелось.

На второй день Пасхи собрались у Загнибиды. Об этом знали все близкие, родные и знакомые. Готовились загодя. Покупали, пекли, варили. Целую неделю Христа под присмотром хозяйки, как каторжная, хлопотала около печи, урывая в послеобеденное время часок на уборку, стирку, побелку. В субботу все комнаты словно в белые сорочки нарядились; в углах из-за гирлянд искусственных цветов выглядывают образа в сверкающем окладе; лица святых словно улыбаются; маленькие лампадки подвешены на тонких цепочках; на окнах – узорчатые занавеси. Столы, покрытые белоснежными скатертями, ломятся от яств и напитков.

Во всем виден достаток, роскошь.

Христю поразило это изобилие. «Господи! – думала она. – Одному даешь вон сколько, а другому... Если бы моей матери хоть десятая часть того, что тут есть, какая б она была счастливая!.. А то...»

Она взглянула на свое платье. Уходя из села и надеясь на хозяйскую одежду, она свою праздничную оставила дома. И вот теперь в чем пришла, в том и праздник справляет. Старенькая короткая юбка из грубой ткани да засаленная безрукавка, которая уже разлезается на плечах. Обожженная рука еще не зажила. Христа завязала ее грязной кухонной тряпкой. И вот она, оборванная, в грязных лохмотьях среди всей этой роскоши. Но хозяев это не трогает.

Олена как-то спросила:

– Ты не взяла новой одежды из дома?

– Ей и в этой хорошо, – ответил хозяин.

«Прислуга! Прислуга!» – звучало в голове Христа, и сердце словно огнем жгло.

Наступила Пасха. Если б это было в селе – знала бы Христа, что ей делать, куда пойти, где погулять. А тут! Слоняется по двору, прислушивается к шуму, доносящемуся с улицы, порой выйдет на людей посмотреть. Разодетые, они равнодушно проходят мимо. А если кто и заметит ее, то лишь для того, чтобы посмеяться.

– Это откуда такая трясогузка взялась? – спрашивает парень в городской одежде своего спутника, вытаращив глаза на Христа.

– Из села! Не видишь? – отвечает его товарищ.

Христа убегают во двор, а за нею следом несутся крики и улюлюканье.

«Чужие, чужие!» – думает Христа, убегая в хату. Там – тишина, хозяева легли спать. Тоскливо, как в могиле. – А в селе теперь девчата гуляют, поют, хлопцы норовят с ними похристоваться... Разговоры, шутки, смех...» Она с трудом дождалась вечера.

– Ложись раньше, высыпайся, – говорит ей хозяйка, – завтра и ночью вряд ли спать придется.

«Какие добрые!» – думает Христа. – И о ней вспомнили».

На следующий день с самого утра начались сборы. Первыми пришли близкие соседи поторопить хозяев, чтобы те скорее шли в церковь.

– Пора в Божий дом! – говорили они, заглядывая в дверь.

– Еще успеем. Заходите! Заходите! – приглашала Олена.

Пока собирались да наряжались, завели беседу. Рассказывали, как кто встречал праздник, как провел первый праздничный день, что нового в городе. Женщины тем временем оглядывали угощение, восхищались куличами, которые у Олены Ивановны всегда пухлые и высокие; расспрашивали, у кого она покупала муку, как готовила тесто, какие клала приправы... Обычные праздничные разговоры.

Но вот и хозяева готовы. Загнибида надел новый суконный костюм, сорочку с накрахмаленными манжетами, повязал шею шелковым платком; сапоги, начищенные до блеска, поскрипывают – одним словом, пан паном.

Олена Ивановна нарядилась в голубое шерстяное платье, накинула на плечи тонкую кашемировую шаль, а голову завязала шелковым платком; в ушах у нее сверкают сережки, на руках – золотые перстни.

– Готовы?

– Готовы.

И хозяева вместе с гостями отправились в церковь.

Недавно ушли, а, гляди, уж возвращаются: в такие дни служба недолгая. Гости пришли вслед за хозяевами. Мужчины, женщины, молодые и старые; толстые, как бочки, и тонкие, как шила; низенькие – приземистые и высокие, как дубы. А наряды? Красные платья, зеленые пелерины, разноцветные юбки, желтые безрукавки, блестящие ластиковые сюртуки, черные суконные кафтаны – в глазах рябит! Все гурьбой валят в дом, здороваются, шумят. Говорят: десять душ – десять слов... а тут сколько народу? Шум и гам заливают все комнаты kloкочущим потоком, словно открыли шлюзы.

А еще не все пришли: то один, глядишь, подойдет, то другой. В комнатах такая давка, что не пройти; одни разместились на стульях и диванах, другие толпятся, разыскивая место. Гости поглядывают на столы, где рядами наставленные бутылки с настойками переливают всеми цветами радуги; на большом подносе возвышается жареный гусь, рядом поросенок с пучком хрена в зубах; барашек, свернувшись клубочком, выставил свое остренькое рыльце с редкими зубами; там лежит утка, задрав вверх ноги, тут белеют ломти молодого сала, желтеет сливочное масло, румянятся крашеные яйца; а над всем этим в конце стола, словно сторожа, возвышаются куличи с белыми головками, присыпанными цветным сахарным горошком. Все так и привлекает к себе взгляд, возбуждает аппетит! И многие гости при виде этого изобилия чмокают губами.

– Кого мы еще ждем? – спросил высокий, осанистый человек с веселыми карими глазами, багровым лицом и черными усами, подходя к толстому торговцу, который сидел в углу, обливаясь потом. – Или мы так походим, поглядим на эти запасы и разойдемся по домам? – молвил он потом, покручивая черный ус.

– Петро Лукич! Петро Лукич! – крикнул толстый торговец.

– А что? – откликнулся Загнибида.

– Пора, братец! Животы подвело, – сказал он, сделав такую гримасу, точно у него в самом деле заболел живот.

– Да... Рубец и Кныш обещали зайти, – сказал Загнибида, почесывая затылок.

– А по-моему, семеро одного не ждут! – сказал высокий.

– И батюшки еще нет, – добавил Загнибида.

– Ох, эти бородатые! – процедил толстый торговец.

– И зачем их ждать? – спрашивает высокий. – Мы и сами можем бороду прилепить. У Олены Ивановны, верно, где-нибудь завалялась связка пеньки. Вот и борода готова.

Поднялся хохот.

– Колесник уж пустился на выдумки! – сказал кто-то.

– Какие там выдумки? – возразил Колесник. – Тут еле голос подаешь, а они выдумки!.. Я предлагаю: пока батюшка, да те, да другие, оно бы следовало по одной пропустить. Пантикулярно, как говорят паны.

– Следует, следует! – сказал кто-то.

– Да что-то Петро Лукич не тае... – глядя на хозяина, сказал Колесник.

Загнибида махнул головой.

– Там, – тихо сказал он, указывая на дверь в соседнюю комнату.

Колесник, толстый торговец и еще кто-то поднялись и один за другим направились к дверям.

– Батюшка идет! – крикнул кто-то.

– Батюшка, батюшка! – пронеслось по комнатам.

– Постойте, сейчас батюшка придет, – крикнул Загнибида, проталкиваясь вперед, чтобы встретить гостя.

Колесник сердито махал рукой.

– Утритесь, Константин Петрович, чтобы бородатый не заметил! – сказал кто-то Колеснику.

– Утритесь!.. Чарка возле самого рта была – и тут отняли! – недовольно сказал он.

– Значит, пришлось только посмотреть?

– То-то и оно-то!

Послышался хохот.

– По усам текло, а в рот не попало.

– Да не разводи хоть нюни, – просил Колесник, почесывая затылок.

Поднялся еще больший хохот.

– Тссс!.. – загудели кругом.

Гулко разнеслось по дому молитвенное песнопение. Славили воскресшего из гроба и его Пречистую Матерь. Молодой, белолицый и черноволосый священник с крестом в руках выступил вперед, запевая сильным тенором. За ним дьякон, осанистый, дородный, с рыжей бородой по пояс и выпученными глазами, гремел густым басом. Псаломщик с изжелта-седыми косицами дребезжал надтреснутым голосом, похожим на блеяние ягненка, за ним высокий кряжистый пономарь, насупившись, дул в камышовую дудку. Хозяева, устремив глаза к иконам, набожно крестились; гости со всех сторон обступили причт, нельзя было пошевелить рукой.

Едва только батюшка кончил петь и поднес хозяевам крест для целования, в комнату вошли два пана. Один среднего роста, упитанный, с круглым красным лицом, так гладко выбритым, что оно даже лоснилось, с небольшими блестящими глазками, которые, как мышата, бегали то туда, то сюда.

Другой, высокий, сухой, с взлохмаченными бровями, нахмуренным взглядом и рыжими баками, спускавшимися, точно колтуны, с выдающихся скул.

Оба на цыпочках пробрались вперед, слегка отталкивая дородных горожан. Те, озираясь и кланяясь, расступались, давая дорогу. Паны направились к столу.

– Кто это? – послышалось в задних рядах.

– Не знаешь разве?

– Конечно, не знаю.

– Этот сухощавый, высокий – Рубец, секретарь городской думы; а этот краснорожий – Кныш, из полиции

– Видал? Пошел Загнибида в гору, с панами водится!

– А-а! Антон Петрович! Федор Гаврилович! – крикнул Загнибида, увидя новых гостей. – Христос воскрес!

Рубец, строго похристосовавшись с хозяином, подошел к батюшке, поцеловал крест и что-то тихонько сказал. Батюшка засуетился, пожал Рубцу руку.

– Несказанно рад! Несказанно! – глухо бубнил Рубец. – На место отца Григория? Царство небесное покойному. Приятели с ним были.

Батюшка, не зная, что сказать, молча потирал руки. Колесник подбежал к Рубцу и с угодливой улыбкой низко поклонился. Рубец протянул ему два пальца. Колесник слегка пожал их, сделал шаг назад и наступил дьякону на ногу. Тот изо всей силы ткнул его кулаком в бок. Колесник зашатался, как подстреленный.

– На ногу! – загудел дьякон басом и, усмехаясь, подал руку. Колесник криво улыбнулся и отошел в сторону.

Пока все это происходило около одного конца стола, на другом Кныш, игриво улыбаясь, говорил хозяйке:

– Для первого знакомства позвольте похристосоваться.

Олена Ивановна, обычно бледная, слегка покраснела, когда Кныш начал целоваться с ней.

Наклоняя свою бычью голову то в одну сторону, то в другую, он с причмокиванием целовал тонкие губы Олены Ивановны своими мясистыми влажными губами.

– Федор Гаврилович! Полегче с чужими женами целуйтесь, – сказал подошедший сзади Колесник.

– А-а, – рывкнул Кныш, повернувшись к нему. – Это вы, Константин Петрович? Так это же раз в год. Христос воскрес! – и затем похристосовался с Колесником.

– Вот такого бы нам секретаря! Вежливый, обходительный! – обратился Колесник к окружающим. – А то сидит гнида-гнидой, а небось хорошо изучил взяточведение!

Кругом захохотали, и Колесник торопливо отошел к другим.

– Что он сказал?

– Кто его знает! Что-то, видно, о взятках.

– Вот черт!

А этот черт так и сновал в толпе. Теперь он, потирая руки, говорил батюшке:

– Да и заморили вы нас, отец Николай.

– Как это?

– Не поверите, во рту пересохло, аж горло тарахтит, как гусиная шейка, на которую бабы нитки наматывают в клубок, – шутил он, смеясь и подмигивая.

– Что ты тут лясы точишь? – перебил его Загнибида. – Святой отец! Благословите наш хлеб-соль!

Отец Николай прочел молитву.

– Начинается!... Слышите? Начинается! – вбежав в соседнюю комнату, крикнул Колесник.

– Что начинается?

– Вот, – указал он на открытую дверь.

Около стола гости чокались с хозяином: батюшка, дьякон, Рубец, Кныш. Приятно звенели чарки; глаза у всех заблестели. Поспешил туда и Колесник.

– Просим, люди добрые, наш хлеб-соль отведать, – приглашал гостей Загнибида. – Спасибо вам, что не чураетесь, не забываете нас.

– А вы наготовили изрядно! – обратился к нему батюшка.

– Только это и осталось нам, отец Николай! Только и всего. Что нам делать с женой? Детьми Господь не благословил. Хорошо, что хоть приходят добрые люди поговорить... Хотя нынче все втридорога стало. Да подумаешь: на что нам это богатство! Для кого беречь? В могилу с собой не унесем. Просим покорнейше... Отец Николай! Антон Петрович! Федор Гаврилович! Кто же после первой закусывает? А вы что стоите? – обращается он к дьякону. – Пожалуйте!

Снова все засуетились у стола; среди других и старый псаломщик топчется.

– А ты смотри мне, чтоб не налился, как вчера! – гаркнула стоявшая рядом с ним высокая костлявая баба с белесыми, точно оловянными, глазами, дернув его так сильно за рукав, что псаломщик покачнулся.

– Ефросинья Андреевна! Ефросинья Андреевна! – тихо промолвил тот. – Тут же чужие... люди.

– А вчера ты видел людей? А молодич небось приметил?

– Так его, так! – вмешался Колесник в супружескую ссору. – Попрошите его, Ефросинья Андреевна! Пусть не будет таким бабником! А то апостола в церкви читает, а сам шепчет молодичам – «шердечко мое».

– И вы на меня?! – сказал псаломщик, опрокинув чарку. – У меня вот зубов нет уже во рту!.. – И он показал свои почерневшие десны.

– А на что зубы? Чтобы поцеловать да еще укусить, – продолжал шутить Колесник.

Гости чуть не лопались со смеху.

А старая псаломщица только менялась в лице и, как ведьма, хлопала своими оловянными глазами. Псаломщик незаметно ускользнул на кухню.

– Вы его стерегите, Ефросинья Андреевна, – поддразнивал старуху Колесник. – Не глядите на то, что у него зубов нет. Он и без зубов никому спуска не дает. А что, если б у него еще зубы были!

– Разве я не знаю? – гаркнула псаломщица. – Знаю! Сорок лет прожила с ним! Прямо – жеребец!

Раскатистый хохот огласил комнату. Люди за животы хватаются, а Колесник хоть бы что, только игриво улыбается.

– Правду, святую правду молвите, Ефросинья Андреевна, – говорит он, подмигивая окружающим, – настоящий жеребец! Вот и сейчас, глядите... зачем он в кухню убежал! Знаем... Стар, а хитер... Там у Петра Лукича новая служанка, да, черт ее побери, ядреная такая... Вот куда его тянет! Вот он зачем подался.

Псаломщица тут же повернулась и, расталкивая гостей, помчалась на кухню. Все дружно хохотали; нашлись и любопытные поглядеть, что будет с псаломщиком.

– Пойдем! – звали они Колесника.

– Ну их! – ответил он. – Почудили, и хватит, лучше выпьем!

Одни поплелись на кухню, а другие вместе с Колесником направились к столу, где с важным видом сидели батюшка, дьякон, Рубец, Кныш.

– Что теперь наша служба? Какие у нас доходы? – жаловался батюшка Рубцу. – Когда у панов крестины были – другое дело! Тогда были и доходы! Бог праздник даст – сейчас тебе и везут из имения всякой всячины... да целыми возами... А теперь что? С такими грошами проживешь? Да еще это как начнут делить между всем причтом!..

– Господь не оскудевает в своей милости! – поднимаясь, гаркнул дьякон и потянулся к бутылке.

Молодой батюшка только пожал плечами.

– Любимец протоиерея, так ему ничего, – сказал он, вздохнув.

– И протоиерей же у нас! – добавил Рубец.

– Христос воскрес! – рявкнул дьякон, точно в большой колокол ударил.

– Воистину! – ответил Колесник, подходя к нему.

– Вот! – обрадовался дьякон. – Это по-моему! А то все жалуется! Доходов нет, молодой попадье шиньоны не на что справлять, – бубнил он Колеснику будто бы вполголоса, но так, что все слышали. – Пусть поменьше пускает попадью с паньчами разгуливать, тогда и доходов больше будет, – закончил он.

За столом начали осуждать протоиерея. Рубец перечислял все его несправедливости по отношению к покойному отцу Григорию: до чего он довел покойника! Он в могилу его согнал.

Кныш удивлял всех рассказами о любопытных документах, попадавшихся ему в полицейском управлении... Отец Николай только глубоко вздыхал.

А тем временем в кухне стоял оглушительный хохот. Смеялись над пономарем. Рябой и неказистый, он, как только выпьет чарку-другую, сейчас к кому-нибудь привяжется. Будь то старая баба или молодница, он одно твердит: выходи да выходи за него замуж! У него и хата есть, и в сундуке кое-чего припасено: одного полотна десять кусков. Из церковной земли на его долю приходится десятины пять; из кружки, в которую опускают свои пожертвования прихожане, ему перепадает рублей пять-десять; да еще не без того, что и за погребальный звон кое-кто даст. Он один знает, по ком и как звонить. Кто сколько даст – на столько и стараешься! Дашь гривенник – на гривенник и звоню, двугривенный – на двугривенный; а за рубль так отзвоню, что слеза прошибет! Говорят: легко звонить – потянул за веревку, и все! Но нет, и в этом деле надо толк знать.

Всем известно было, что пономарь женат; один он этого не признавал, потому что во время венчания был так пьян, что ничего не соображал. К тому же его жена с ним не жила, а шаталась с солдатами по кабакам. Трезвый он был тише воды, ниже травы; зато как только выпьет – откуда только прыть берется? Пыжится, хвастается, словами, как горохом, сыплет.

Так и сейчас. Давно ли он сидел здесь в одиночестве на лавке, понуро свесив голову на грудь? Никто его не приглашал выпить, закусить, никто с ним не заговаривал. Христа, хлопотавшая по хозяйству, глядя на него, думала: почему этот человек сидит здесь, не ест, не пьет и никто его не зовет к столу?

Так продолжалось, пока в кухню не зашел толстый торговец.

– Тимофей! А ты чего здесь сидишь, не выпиваешь, не закусываешь? – И, не долго думая, схватил пономаря за руку и потащил его к столу.

Пробыли они там не долго, но вернулся Тимофей совсем другим человеком: выпрямился, глаза сверкают, брови так и ходят, усы воинственно топорщатся. Христа, увидя его, никак не удержалась, чтобы не засмеяться.

– Ты чего хохочешь? Ты кто такая? – пристал он к Христе, да так забавно поводил бровями, что девушка, как ни старается, не в силах сдержать смех.

– Да это... – с трудом произнес толстый лавочник, еле ворочавший языком, – дивчина...

– А если дивчина, так почему замуж не выходишь? – спрашивает Тимофей.

– Да оно бы, может, и тае... да, видишь, жениха нет.

– Фу! – крикнул Тимофей. – Какого тебе жениха надо?

– Сватай, Тимофей, – сказал кто-то из собравшихся вокруг них.

– А что? Не пойдешь за меня? Не гляди, куда забрел, лишь сапог бы не извел! – крикнул он, молодежато притопнув ногой, и так лихо повел усами, что все за животы схватились.

Громовой смех покрыл его слова, но Тимофея это не смутило. Он подошел вплотную к Христе и начал ласково заглядывать ей в глаза. Христе сперва было смешно, но, когда набралось много людей, ей стало стыдно и страшно. Потупив глаза, она отступила к печи. Тимофей пошел за ней.

– Сердечко! – крикнул он тонким голосом.

– Чего вы пристали ко мне? Убирайтесь! – с возмущением сказала Христя.

– Паникадило души моей! – крикнул он снова, ударив себя кулаком в грудь.

Люди так и покатились со смеху, а Тимофей стоит перед Христей, бьет себя в грудь и выкрикивает:

– Ты та, кого жаждала душа моя! Приди же, ближняя моя, добрая моя, голубица моя!

Приди в мои объятия! – Он распростер руки, намереваясь обнять Христю.

– Тимофей! Ты что? – раздался вдруг позади него чей-то голос.

Пономарь оглянулся, и руки его опустились: перед ним стоял батюшка.

– Совсем осрамил девушку, – сказал отец Николай, взглянув на Христю, у которой щеки горели, как маков цвет.

Тимофей отошел, давая дорогу батюшке, который прощался с хозяевами и гостями, порываясь уйти.

– Отец Николай, а на дорогу разве не надо выпить? – и Загнибида заискивающе заглядывал батюшке в глаза.

Отец Николай засмеялся.

– На дорогу? Ах, чтоб вас! Давайте уж!

– Я вам наливочки, – суетился Загнибида. – Такой наливочки – губы слипаются! Олена Ивановна! Наливочки сюда! Позапрошлогодней! – крикнул он жене.

Олена Ивановна принесла бутылку с наливкой.

– Сама и попотчуй.

Олена Ивановна налила.

– Хороша, хороша! – похваливал отец Николай, понемногу отпивая из чарки.

– А вам, отец дьякон? Наливочки? – предлагает Загнибида.

– Свинячьего пойла? – крикнул дьякон. – Нет! Водочки мне дайте!

– А может, рому – для бодрости? У меня хороший ром, у немца брал.

– Не терплю я эти заграничные штучки. От них только в животе булькает и голова болит. Нет лучшего напитка, чем наша родная водочка! Чем больше ее пьешь, тем вкуснее она делается. Правда? – крикнул он, хлопнув Колесника по плечу.

– Правда, ром к чаю – дивная вещь.

– То-то же. А для начала – водки! Дернул – и все! Дерзай, чадо! – крикнул он, запрокидывая чарку, и торопливо вышел на крыльцо, где ждал его батюшка.

– Пошли вам Бог счастья! – напутствовал его Колесник.

Вслед за дьяконом вышли хозяин, хозяйка и кое-кто из гостей.

– Пропустите! Пропустите! – шамкал беззубым ртом псаломщик, протискиваясь вперед.

– Ты же слышал, что я тебе наказывала, старый черт! – крикнула псаломщица, схватив его сзади за волосы.

– Слыхал, слыхал! – сказал псаломщик и, вырвавшись, скрылся в сенях.

– Ох ты, моя красавица неписаная! – крикнул Тимофей, уходя, и ущипнул Христю.

Она размахнулась и ударила его кулаком по спине.

– Вот так посватала! Молодчина! – сказал кто-то.

– Кто кого? – спросил Колесник.

– Вон эта девка – Тимофея.

Колесник взглянул на Христю. Красная и разгневанная, стояла она около печи.

– Где ты, душечка, была? – спросил Колесник, подходя к ней. – Я же с тобой и не христосовался. Христос воскрес!

Не успела Христя рта раскрыть, как Колесник ее уже обнял.

– Не очень, Костя, не очень! Гляди, как бы ты губы не обжег! – сказал ему толстый торговец.

– И я не христосовался, – сказал какой-то невзрачный гнилозубый мужчина и чмокнул Христю в щеку.

Толстый лавочник тоже приложился к ней жирными слюнявыми губами. Христя не знала, куда ей деться от стыда и что делать – плевать ли в глаза этим пьянчугам, ругаться или плакать.

– Стой! – крикнул вернувшийся с крыльца Загнибида, увидя, как Христя вырывается из крепких рук Колесника.

– Константин! Что ты делаешь? Подожди же, я жене расскажу, – сказал он.

– Ее дома нет, – сказал Колесник, выпуская Христю. Та бросилась вон из кухни и в сенях чуть не сбила с ног хозяйку.

– Куда ты несешься как сумасшедшая? – спросила Олена Ивановна.

– Да он... они... ну их совсем! – жаловалась плачущая Христя: – Раз так, я все брошу!

– Что там такое? – спросила Олена Ивановна.

– Тссс... – слышалось из кухни.

– Не трогай хозяйского добра! – направляясь к сеням, крикнул Загнибида: – Не трогай!

– Что ты мелешь? – спросила его Олена Ивановна. – И это называется благородные люди. – Она с разгневанным видом прошла в комнату.

– Вот так дело! Кто кислицу поел, а кто оскомину набил, – сказал Загнибида, почесывая затылок.

– Так и у меня, – покачивая головой, сочувственно произнес Колесник.

– Горе, брат, эти жены! – сокрушался Загнибида.

– Горе, – как эхо, откликнулся Колесник.

– А горе залить надо, – вмешался в разговор толстый лавочник.

– А в самом деле! – согласился Колесник.

– Пойдем, – пригласил их Загнибида.

– погоди. Эти паны там! И зачем ты их пригласил? – говорит лавочник.

– Разве я их просил? Сами набились. Не выгнать же мне их!

Только Загнибида сказал это, как из комнаты выходят Рубец и Кныш.

– Попили, поели у вас, Петро Лукич, – сказал Рубец. – Пора и домой.

– Куда? Так рано? Я и не видел, попробовали вы хоть что-нибудь.

– Всего попробовали вволю! – сказал Кныш.

– Боже мой! Может, еще немножко посидите?

– Нет, нет. Жены дома ждут. Мы, знаете, перелетные птицы.

– Скажи ему, пусть не задерживает, – шепнул толстый лавочник на ухо Колеснику.

– Да хоть на дорогу! – спрашивает Загнибида. – Антон Петрович! Федор Гаврилович! По одной! Наливочки. Жена, голубка! Дорогим гостям на дорогу наливочки!

– От тебя не отвяжешься! – сказал Рубец.

– Извините, простите, Бога ради! Может, что и не так. У меня, знаете, все по-простому. Как ни тянись, а до панов далеко. Извините.

– Дай, Боже, и нам то, что у вас! – сказал Кныш, беря чарку наливки.

– Будьте здоровы! – сказал Рубец. Выпил, отдал чарку и, попрощавшись за руку только с хозяином, вышел. Кныш попрощался со всеми без разбора и последовал за Рубцом. Загнибида пошел их проводить.

– Слава Богу! – с облегчением воскликнул толстый лавочник.

– Этот Кныш еще ничего, обходительный человек, – сказал Колесник, – а уж наш секретарь – о-о! Это цаца!

– Оба они одним миром мазаны! Оба на руку охулки не кладут! Один только берет и кланяется, а другой берет, да еще нос задирает. Выпроводил, слава тебе Господи! – сказал Загнибида, вернувшись. – Ну, а теперь – к столу. Сейчас наша очередь. Ох, уж эти мне паны!

И все гурьбой повалили в комнату. Там за столом собралась вся женская компания.

– Идите же к нам, – сказала дородная молодница, жена гнилозубого, красная, как наливка в ее чарке. – Хватит вам все с панами да с панами! Совсем панским духом пропахли! – прибавила она, стрелнув на Колесника своими масляными глазами.

– Выпить с вами, кума? Ну и хороша кума! – сказал Колесник, опускаясь на лавку рядом с молодницей.

– Так-то оно: кума что маков цвет, а похристосоваться с ней – так нет! – укоризненно произнесла долговязая жена толстого лавочника.

– Почему? И теперь еще не поздно! – сказал Колесник.
– Огляделись, как наелись! – горделиво сказала молодница.
– Не опоздали! Теперь в самый раз! – оправдывался Колесник.
– Да не про вас! – говорит лавочница.
– Со служанками идите сначала христосоваться! – сердито сказала псаломщица, сверкнув злыми глазами.
– С иной служанкой бывает лучше, чем с барышней, – сказал гнилозубый.
– И ты туда же! Хоть бы ты уже Бога не гневил! – презрительно произнесла его жена. Гнилозубый сморщился и стал еще более неказистым.
– А что я? Ничего. Не лыком шит, – хорохорился он.
– Если не лыком, то валом [Вал – толстые нитки из пакли.], – смеясь, крикнула лавочница. Женщины дружно захохотали.
– Если так, – сказал Загнибида, – если они нас не принимают, то и мы не хотим с ними быть! Пусть они пируют отдельно, а мы – отдельно. Пойдем! – И, взяв за талию гнилозубого, Загнибида вместе с ним направился в кухню.
– Куда же вы? – тревожно взглянув на них, спросила Олена Ивановна.
– На простор... ну вас! – сказал Загнибида.
Олена Ивановна побледнела, глаза ее потемнели.
– Кум! Кум! – крикнула им вдогонку лавочница и запела:

Ой, куме, куме!
Добра горилка...

– Выпьем, кума, – подхватил песню Загнибида, вернулся и сел рядом с лавочницей.
– Вот так будет лучше! Сядем рядком и потолкуем ладком, сядем по парочке и выпьем по чарочке! – сказала жена гнилозубого.
– Сам Бог глаголет вашими устами! – крикнул сидевший рядом с ней Колесник. Толстый лавочник и гнилозубый тоже присоединились к компании.
– Жenuшка, голубка! – сказал Загнибида. – Ты ж у меня первая, ты у меня и последняя! Попотчуй добрых людей. Страх как люблю посидеть с хорошими людьми, поговорить, попеть.
– Уж коли петь, так божественное, – сказала псаломщица.
– Божественное! Божественное! – закричали женщины.
Лавочница затянула «Христос воскрес». Другие подхватили. Женщины запевали звонкими голосами, мужчины гудели, как жуки. Только Колесник пел грубым басом, так что стены дрожали, за что соседка время от времени потчевала его кулаком в бок. Колесник, словно не ощущая этих пинков, продолжал петь, а закончил он так оглушительно, что кума изо всех сил ударила его кулаком в спину; тот хмыкнул. Все захохотали, а Колесник ущипнул куму. Та крикнула и навалилась на стол. Бутылки и рюмки зашатались, попадали. Послышался звон разбитого стекла.

– Тише! Не бейте посуду! – крикнул кто-то.

– Ничего, ничего. Где пьют, там и бьют! – сказал Загнибида. – Жена! Угощай!

После этого все начали петь вразброд. Псаломщица затянула «Вдовушку», лавочница – «Куму», краснолицая кума Колесника – «Не приставайте, хлопцы, за телятами иду». Толстый лавочник, уткнувшись в плечо псаломщицы, плакал. Загнибида молча слушал пение лавочницы, притопывая ногами; гнилозубый громко храпел на всю комнату; Колесник подпевал лавочнице. Олена Ивановна, белая как мел, глядела на окружающих воспаленными глазами и криво усмехалась.

Христя, услышав дикий гул, доносившийся из комнаты, подошла к дверям посмотреть, что там творится. Она еще никогда не видела ничего подобного. «Сдурели люди, взбесились!

Вот как пируют богачи! С жиру бесятся», – подумала Христя. Она подошла к столу, но никто не обратил на нее внимания; потом взяла кусочек кулича и вышла. Она еще сегодня ничего не ела, во рту пересохло, она с трудом проглотила зачерствевший кулич.

Заходило солнце, красное зарево стояло над землей. Христя в глубоком раздумье глядела на кровавое пламя заката.

Отчаянный крик вывел ее из оцепенения. Она бросилась в комнату. На полу лежал толстый лавочник. Он хотел встать, но, поднявшись со стула, не удержался на ногах и рухнул на пол. Хозяйка вскрикнула от испуга.

– Не бойтесь, Олена Ивановна, черт его не возьмет! – сказал Колесник и, схватив лавочника, потащил его в соседнюю комнату.

– А этот чего тут носом клюет? – сказал Колесник, кивнув головой на гнилозубого, и потащил его к лавочнику.

– Очищайте, очищайте место! – кричит ему вслед жена гнилозубого и, когда Колесник возвращается, наделяет его поцелуем.

– Такого бы мне мужа! А не гнилозубого и сопливого, – шепчет она так, что все слышат.

– Эх, матери его шиш! Они целуются, а мне нельзя? – крикнула лавочница и с другого бока прижалась к Колеснику.

Заарканили его: одна целует в правую щеку, другая в левую. Колесник взял их под мышки и понес. Женщины барахтаются, толкают друг друга.

Загнибида сумрачно глядел на Колесника.

– Константин! – крикнул он с досадой. – Брось!

Колесник приподнял женщин и сразу опустил их на пол. На этом, может, все бы и кончилось, если б жена гнилозубого не сбила случайно чепца с головы лавочницы.

– За что ты, сука, сорвала с меня чепец? – крикнула лавочница, вцепившись руками в волосы своей соперницы. Второй чепец полетел на пол. Жена гнилозубого, не долго думая, дала лавочнице звонкую оплеуху.

– Так ты еще и драться! – крикнула лавочница, бросившись на свою недавнюю подругу.

– Что вы? Господь с вами! – крикнул Колесник, становясь между ними.

– Матери твоей черт! Если сама распутница, ты думаешь – и все такие! – кричала одна.

– Ты сама распутница! Тьфу на тебя! – орала другая, плюя на свою соперницу.

– Вот что ты наделал, Константин! – крикнул Загнибида, ударив кулаком по столу так, что задребезжала посуда. Колесника поразили не столько крик, сколько стук.

– А по какой такой причине я? – уткнув руки в бока, спросил Колесник.

– Ты!.. Ты!.. Ты всему виной! – кричал Загнибида, мотая пьяной головой.

– Да будет вам, Петро! – взмолилась Олена Ивановна.

– Он! – снова крикнул Загнибида. – Он всему виной! Куда он ни вмешается – добра не будет!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.